

МАРИНА ТЕМКИНА

Вамм са

В обратном направлении

огель

и
и
и
и

МАРИНА ТЕМКИНА

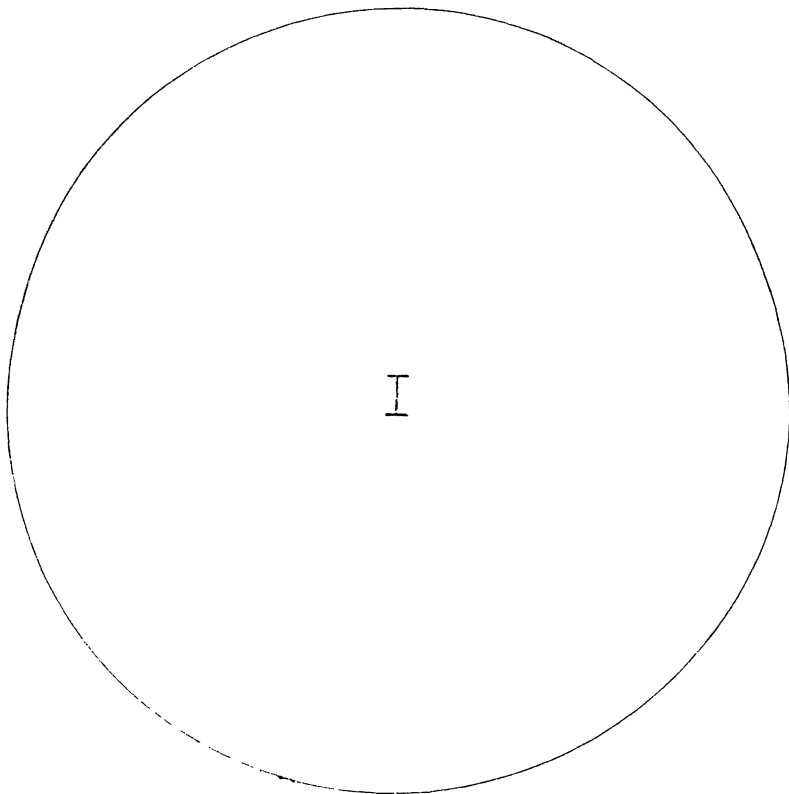
В о б р а т н о м н а п р а в л е н и и

«СИНТАКСИС»
ПАРИЖ

Обложка: Мишель Жерар

1989

• «Syntaxis»
8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE



О, как бы я хотел найти страну,
в которой мог не плакать и не петь я.

Н.С. Гумилев

Наблюдение за полетом птиц

Его вымаливая у небес,
выпрашивая возвратить живого,
как камнем, слово ударяла в слово,
и гул стоял, глаза — все дымом ест.
Сдвигала горы, растрясла вулкан,
расплавила клокочущую лаву:
„Чего еще? все — почести? всю — славу?“
Но кто-то слушал, кто-то мне внимал.

— Очнись. Опомнись. Для чего дарил,
чтоб отнимать? чтоб там на верхотуре
открытиям, таившимся в авгуре,
на полуслове пообрезать крыл?
Щебенку вавилонскую скроша,
дробильное утихомирив жерло,
его ль берешь в довременную жертву,
едва фундамент башни заложа?

Учеником ненашенских миров
(на этом свете э т о м у не учат),
существ крылатых и веществ горючих,
воздухоплавая, паренья, парусов
заоблачных... — запретного предел
нарушила. Я лишнее сказала.
(Не чтобы обвинять — напоминала
самой себе: чтоб голос осмелел.)

Стояли насмерть. Упирались. Я:
— Еще не все. Помедли сколько можешь.
Дай новый срок — и чем не ад? — дороже
мне эта жизнь, чем все и чем своя.
Переотмерь, но — в единицах чувств,
достигнувших величины потери.
Не для себя прошу. До райской двери
уж как-нибудь одна доволочусь.

Вспорхнуло сверху. Бросил мне — лови!
Он помогал, не поглядел, что плачу.
Он жизнь мою не пожелал в придачу.
Не это ль проявления любви,
но — тамошней? В груди еще саднит
от сей уступки. Чем я заслужила?
От треволенья Время проглотило
язык — не ходит, точно инвалид.

Смотри, что происходит в облаках
над головой. Что, правда, с облаками
все время происходит перед нами?
Все колобродят, нагоняют страх.
Откуда ни возьмись, пошел снежок,
стал набивать чехол с пометкой „годен“.
Посплю. Потом займусь предновогодним.
Поставить елку. Завести волчок.

1985

Из песен Сапфо

Пожалуюсь тебе, мой собеседник
единственный. Нет никого другого,
кому сказать убито, хладнокровно:
возлюбленный мой изменяет мне.

Тебя не покоробит откровенность.
Дела житейские. К тому ж я не ревнива.
Как можно ревновать, когда избранник
женат, есть детки у него и есть рабыни —
неподалеку от Аркадии поместье —
и с несколькими так или иначе
он женщинами связан. Я одна
из них. Затерянный наш остров
не предлагает выбора. А ролью,
что я, как все, такая же, из многих,
я забавляюсь ею — и довольна:
могу играть на славу. Но не вечно.

То не упрек ему: ращу я дочку,
есть муж, и имя песнями известно.
Вот что его, похоже, привлекает.
Не я сама. И даже не напевы,
но милое тщеславие мужское
услышать их на ухо и негромко
проговоренными — и новыми словами.

И я свои печали усмиряю
под ласкою. Нахохленное сердце,
как выпавшего из гнезда грачонка,
отогреваю мыслью: не продлится
все это долго, ты уж потерпи.
Надежды нет — и не было надежды.
Я просто не показываю вида,
что знаю что-то, что бы не хотелось
мне знать, и, зная, в памяти держать
о нем — и вообще о смертном муже.

Да и не глупо ль злиться на притворство?
Гораздо было б хуже, если б он
не утруждал себя простой уловкой.
Прославим ложь! ее прекрасней нет,
когда ничем на правду не похожа,
когда не оправдаться чтобы — ложь,
но чтобы сочинить другую правду,
получше настоящей — вот зачем.

— Но все же что-то в нем тебя, — ты спросишь, —
как будто продолжает привлекать?

Есть что-то не случайное в устройстве
лица его. Глядит, как в полнолуние
светящееся существо на небе,
как будто началась в лице улыбка,
но дальше не пошла — не продолжалась.

Он слушает, как слушает огромность
морская — при безветренной погоде.
Безмолвен, безучастен и подспуден,
как мысль, ему известная, но, видно,
не связанная внутренне со мной.

Как море, рядом медленно он ходит,
переводя дыханье за волну,
стараясь заключить в объятье
все, что пред ней лёжит — до горизонта,
стряхнуть за горизонт излишек звука
от речи сбивчивой, от частых оговорок,
висящих в воздухе, мешающих слиянью
осоки в дюнах и ему — с подругой.

Он также извлекает наслажденье
из каждой осязаемой минуты,
как Вакх. И та же бывшая кудрявость.
И тяжесть тела, сытого по горло
всем тем, что земледelec производит,
что выловит рыбак и что садовник
насушит и выносит продавать.

Моих стараний лишь на то хватает,
чтоб звук извлечь из арфы тонкострунной
и слух его аккордом усладить.
Но это ненадежное искусство
в сравнении с искусством покоренья

сердец — и даже целиком народов.
Народ алкает песен. Так, возвратом,
все к арфе сходится, а, значит, и к арфисту.
Я научаю песню, как ей спеться,
она меня — как с милым поступать.

Все дело здесь в отдаче. Иль, пожалуй,
в том, чтоб не пожалеть себя. И в этом
лежит причина нашего несходства:
ничем он не поступится для песен.
Но как хотела б ошибаться я!

И потому-то главное занятие
его: искать, терять и вновь бросаться
на поиски. В лице есть выражение
неутоленного в младенчестве желанья,
выпрашивающего бесполезно
у взрослых: „Ну, возьми меня с собой”.
Как будто можно в жизнь, вовнутрь жизни
кого-то взять, кому черед остаться
на берегу, что сторожит Харон.
В его глазах хранится это знание,
подернуто небесной пеленою,
защищено тяжелым, словно вечность,
вобравшим тягу к ней, покатым веком.

Иль словно бы он юношей, подростком,
все вился возле девушек, добиться
пытаясь их расположения. Но они
пренебрегали им. Тем застарелым зудом
обиды жжет его воображенье,
не в силах ни унять, ни утолить.
Все этот страх: прогонят вон из жизни
когда-нибудь. Куда уж тут — найти?

По мне же — все сошлось на человеке.
Чего нам олимпийцы не прощают:
когда мы смертных путаем с богами.
Тем самым превышая полномочья
одних, а что касается других,
то их недооцениваем будто,
тем всякое запутывая дело.
Единственное оправданье мне,
что, говоря с тобой, как с Аполлоном
или с одной из муз его, дающих
и мне сейчас возможность говорить,

я знаю разницу: тебя не умоляю
о помощи ни в трудностях амурных,
ни в страсти к совершенству изложения,
которой ты меня и научил.

С тобою говоря — какой подарок
иной могу послать? какой, чтоб больше
порадовал? Прими. То мой привет.
Наш способ разговора — посчастливей
он будет всех иных и бескорыстней.
Ты различишь в нем отголоски чаек,
что слышал в детстве, глядя на залив.

Ну что ж еще о т о м? в губах как будто
неуловимое затаено движенье
нездешнего — из камня — изваянья,
напоминающего: где-то есть другая
земля, ему родней, чем этот остров.
И там он путешествовал, но вряд ли
об этом он проговорится мне.
И глуховатой эллинской речью
его язык так произносит звуки,
как будто бы шуршит песок под ветром
и плещется волна в прибрежных скалах.

И нежности он ремеслу обучен,
хоть ненадежен, да и не влюблен.
Я это понимаю — что ж упреки?
Стрелу ему Киприда не послала,
и в этом нет вины его. Ответ
мой на твое... о, нет, не любопытство,
но за меня тревогу... ты бы мог
не спрашивать, ты мог бы догадаться.
Покуда хочет он, чтобы ему
я напевала то, что сочиняю,
покуда слушает, я говорить хочу.

А мы с тобою встретимся, где тени
в подземном царстве обитают, и где ты,
увидев тень мою, ты шепотом не спросишь
у незнакомого: „А это кто?“

1985

Позднелатинское послание

Salve тебе, Александр,

молчаливый упрек принимаю.

Стыдно сказать, но о нас „Художник в изгнании” — кино, сам понимаешь, канал 13-й, самый счастливый, долго снимал. Отчего приключилась со мною острая форма приступа м и з а н т р о п и и, на посторонних не столько распространившись или на тех, автобиографию с кем не слишком успешно делю, но, в основном, обратясь на себя самую же.

Все же поскольку на „о” в названии этой болезни падает (верь словарям!) ударенье, то верю и я — скоро тропу отыщу на твой я, соскучившись, остров. Здесь же, на острове Квинс, непогода все держит, никто в море давно не выходит и нет сообщений с друзьями.

С Флавием новым не вижу; однако прочла с наслаждением нынче записки про город, прописан где был иудей.

И размышляла при этом: вот к чему мысли приводят, когда с того света не жаждешь на этот опять возвращаться.

С ним побродив там, т у д а вслед за ним воспаривши, от перегрузок слаба, пришлась восвояси.

С места не трогаюсь, больше ненадобна помощь, и хорошо, что ненадобна: здесь зарядили дожди.

Меня же в ученые дамы опять между тем не пустили.

Неужто процентная норма в силе негласно и тут?

Должность глашатая в „Голосе” тоже на днях потеряла, — то средства на мне экономит местный Сенат для войны.

В общем, ты видишь, уже не касаясь финансов,

ибо коснувшись, боюсь, еще напишу сотню строк

(за сына, к примеру, не плачено за обучение четвертый уж месяц), если пока не повсюду, то в доме моем явный кризис.

За что ни возьмешься — причины для жалоб кругом.

Но на друзей, между тем, их обрушивать нам не пристало,

хватает у них своего. Разве тебе поутру
вставать не противно? и стоя, так на ходу и влачить
рабское существование? Боги! как жалко друзей.
Не лучше ль тебе с Леонидом, лежа на теплом песке,
бороду солнышком греть, выползая на пляж попластунски
полусонным еще и попозже, никак уж не раньше полудня,
нектару хлебнув, амброзией перекусив.

Для полной же неги транзистор твоё пожеланья исполнит,
песенку Шуберта Фишер-Дискау — с самим! — напоет
Святослав Теофиловичем; а в этом сопровождении,
кстати чем дальше, тем меньше понятно, из них
кто же кого, в самом деле, сопровождает?
(К словоупотреблению точному тут обуяла,
видишь, не страсть уж меня — диктует любовь.
С ней же, смутясь, запинаться начнешь поневоле.
Так что давай возвратимся мы к теме, чтоб скобки закрыть.)
Он же пусть лучше один слух Петром Ильичом убажает.

Не устаю удивляться тому, что мы с ним
совпадаем во времени (ибо не слишком везучи),
хронологически нам подфартило: в этом лице
детскому недоумению — „что же есть гений?“ —
было дано разъясниться. Но это не все, есть и дальше.

В силу самостоятельных свойств (выше пятой линейки)
произведенное им потрясенье, трудясь и само,
подключило шестое, седьмое, восьмое — и далее — чувство.
Вот уж к чему, ибо было б грехом привыкание к чуду,
никак не привыкну — и вообще ни к чему я не привыкаю.

Дальше представь, покамест включен твой транзистор,
может поймать он в эфире лучшую нашу подругу,
ту, что прислушавшись сердцем, спешит то, что любишь,
ну, например, вальсы Брамса, исполнить; при этом
так их исполнить, что станешь гордиться знакомством
с розовоперстою нашей Елизаветой.

Что же касается наших прямых недостатков,
у нас их в избытке. Не потому мы молчим,
что не желаем напрячься, не потому, что вступить
в диалог не способны — просто тех мало,
с кем говорить можно в полную силу.

Что хорошо в нас: нам нравится, коль удастся
наших друзей, как и мы, несчастливых счастливцев,

расколдовать ненадолго и в жизнь погулять отпустить,
чтоб насладились немногим, она чем еще услаждает,
ибо все меньше такого... В этом мгновеньи пребудь!

Мне же пора. Ибо вижу: контраст очевиден
того, что б хотела, с тем, что имею. К тому же грядет
24-е, „дата рожденья”, и надо успеть оклиматься
и осознать, что сделать успела за годы:
укорениться в себе или собой пренебречь.

Ты же получше живи и смотри не сердись на подругу.
Звезды лишь только позволят, тотчас к тебе приплыву.
Чувствую, ветер уже по-весеннему треплет канаты,
словно пастух, перед выгоном стад подзывающий псов.

Февраль 1986

Примечания

1. Александр – адресат стихотворения, А. Сумеркин.
2. 13-й канал – общественный канал нью-йоркского телевидения.
3. Квинс – часть одного из островов, на которых расположен Нью-Йорк
4. Голос – радиостанция „Голос Америки”.
5. Леонид – Л. Зельцер.
6. Святослав Теофилович – С. Т. Рихтер.
7. Петр Ильич – П. И. Чайковский.
8. Елизавета – Е. Леонская.

Семь подстрочников сонетов из рыцарских времен*

I

Солнце выходит, как выводок цыплячий,
копошится в траве, клюет росу,
под дерево, где ты спал эту ночь со служанкой
с медовыми волосами, проникает утро,
страхнув с небосвода остатки вчерашнего пира:
звездные крошки, лунный след от копыта.
Досады ночной как не бывало. Кто как не ты
искушен в ремесле отлова лакомой дичи,
чем поживиться, чем и развлечься.
Больше похожи служанки одна на другую,
чем два восхода любые. Этим и держится
верхняя балка миропорядка, Божий птичник;
только вздорное сердце квохчет.

II

Из того, что мы говорили с тобой друг другу,
сокровенных мыслей никто не узнает;
то даровано было судьбой мгновенье
на то надежды, что не сбывается никогда,
его и растянем на весь остаток пути земного;
странно нами она распорядилась.
Тот один лишь любовью владеет, кто сам и любит,
каждый своею, единственный мой, не одною и той же;
и у каждого есть свои собственные обеты;
ты не можешь нарушить свои, чего ж от меня ожидаешь?
Грустна моя жизнь, но и твоя обошлась с тобою нещадно.
Раз искать ее отправляешься, на славу благословляю,
а сама я на женскую половину теперь отправлюсь.

* Этим циклом автору хотелось бы принять участие в сборнике статей коллег и учеников проф. Матвея Александровича Гуковского, посвященном его – также и моего учителя – памяти („Культура эпохи Возрождения”, АН СССР, „Наука”, Л., 1986).

III

Как она раскричалась, когда ты стал собираться!
— Чтоб ты, обманщик поганый, лишился мужеской силы...
чтоб твой ослиный доспех с причиндалами
ржавчиною покрывался с коростой вместе...
чтобы при виде женщин трясушка тебя разбирала
с волдырями... чтоб ты мои проклятия слышал,
удесятеренные эхом, и обдывался от страха...
чтобы глотком вина захлебывался, косточкой
от маслины давился, чтоб не пилося, не елось
тебе, трусливый, от подавиться боязни...
чтоб попадал ты в капкан для зверя,
что сам расставляешь, как я попалась, дурища...
чтоб обо всем плохом, что с тобой случится,
молва доносила, а я упиваться буду злорадно...

IV

Так истошно она сопровождала прощанье, пока ты
облачался невозмутимо с помощью оруженосца,
расторопного не слишком. Вот уж кто наслаждался!
он да еще ваганты за животы держались:
„Вот так деваха, Santa Maria, amagosa mea,
вот перец!“ — „Мед... пасечнику тому, кого до сот
допускает“, — осадил их умница-карлик,
дурик придворный в колпаке с бубенцом дурацким.
Видно, жалеет беднягу, как бы она не рехнулась.
Тут школяры, изнемогши от воображенья:
„Ты, огрызок, все равно не достанешь, если б
пустила!“ — вот с кем и мне веселее: те да этот,
с ними перезимуем, лишь по весне удалятся.
Вести раньше Пасхальной ярмарки не доходят.

V

Лес зимой, словно в кузне подмастерье-
чеканщик, испещряя бездумно пустоты,
зачеркивает деревьев рисунок,
чтоб зачернилось плотно, осатанев
от белым окоченевшего поля.
Но если смотреть с дороги, ели
приседают одна за другой, крупноруки,
как матроны на рождественском празднике в замке;
хвойный их ворс промерзший пахнет
снежком, имбирным пряником, свечкой.
Ближе подъедешь: у башинного моста
топчется сторож в овечьей рябой мерлушке,

при нем под снегом фураж; переживает,
пока проедет охотничий выезд княжий.

VI

Рукодельничала, нарисовав твой знак с моим
знаком Зодиака на малиновом атласе из Лукки
и, чтоб незаметно было, с другими знаками тоже.
Бралась за лютню. Вечером для гостей
князя-супруга, с охоты вернувшихся,
буду петь новую песню и старые песни тоже.
Потом выходила смотреть, как снег уж в который раз
твои следы засыпает и как недавняя наша крикуша
под редкие хлопья свой опять опухший нос
подставляет, и карлик тут же, за юбку
ее держась, дрожит и мерзнет, но не уходит;
а мне так нечего вспоминать, нечего вспомнить.
Наверху посреди двора на коньке колодца
химера, она смеется, не то что мы трое...

VII

Из того, что не сбудется,
хотелось не так уж и много:
возвращаться с тобою откуда-то
в темноте, открывающей заповедник
обездоленности всего земного,
вместе с жалостью смертельной
нежности край непочатый
расходуя друг на друга
на траве, сиротливо качающей
нас, не оставивших за собою
ни прав на что-либо, ни стен,
чтоб на них оглянуться,
ни тех, кто бы спетые нашими голосами
песнопения помнил.

На ферме

Глава I

Я живу на самой вершине амфитеатра,
на последних ступенях деревенского колизея,
примостившихся на воздушной подушке под небесами,
на краю семихолмия, над выемкой гигантской,
изнутри заросшей зеленой, распахнувшейся глазу —
вся целиком — как будто соглядаята и дожидалась.
Раблезианец для полноты картины
не преминул бы заметить, что между холмами,
в лощине, промежность с кудрявым лесом.
Здесь получаю отпущенную мне долю зрелищ.
Пасутся коровы. Обьедают нижние ветки смородины
козы. Только что бурки лишившиеся бараны,
по ходу стрижки изгибавшиеся то так, то эдак,
закручивавшиеся в рог бараний,
утрачивая семитскую скрутку,
демонстрировали возможности звериного орнамента,
а выпущенные из-под машинки
переминались неловко, как новобранцы.
Колоннада серых сосновых стволов на перевале
поддерживает составленное ветвями
подобие многофигурного треугольного фриза
и сама, над классикой этой нелепой смеясь
и потрясая ею, трясется. Это здесь не проходит.
Гористая местность, не приспособившись
к самоограниченью, не ограничивает свободы
формам, явлениям, перемещениям лиц.
И мой паровозик бежит по строчкам туда-сюда,
сойдя с колеи, одолевая пересеченность
вольготно разлегшегося ландшафта,
собою и увиденным поглощенный,
расставшись с бухтеньем шпал, переводом стрелок,
со стационарным буфетом, расписанием
железных дорог: тропы, строфы, гудочки
рифм, контролеры. Вот уж где места нет
педанту, догматику, резонеру,

ни заигранности фирмы „Мелодия”, ямб бубнящей,
ни короткой дышалке прямоугольных куплетов.
Находясь в покое и воле пространства,
данный вид транспорта если и управляет чем-то,
то не более чем движением хода мысли,
полагая, что им-то уж он владеет.

Г л а в а II

Взгляд разлетается с непривычки,
не встречая препятствий, уносясь туда,
где клубится небо после битв нездешних;
пускай себе сочиняет далее метафизик,
каков тот потусторонний мир, какие там войны,
ничто какое, а у меня желания нет
за рамки пейзажа выйти. Раскинувшаяся долина
словно книга раскрытая, где великое множество
всяческих внимание забирающих мелочей,
заботящихся о прекрасном, ради его продолженья.
Ее читаю — несостоявшийся растительного языка
палеограф (София!) — как самодельную Библию
монастырскую, как Часослов, где все готически
устремляется вверх по мере способности к росту
и, уводя внутрь нагромождения веток,
сквозное виденье развивает. Так, сквозь
деревья на белом фоне, словно сквозь черновик
сочинения крупной формы, сквозь палочки,
разным почерком не сложившие букв,
сквозь боковых стволов контрфорсы,
мимо обглоданных воздухом ребрышек голых,
костяшек, вывернутых тяг деревянных,
нервных пучков, проникаешь в неведомых
сущностей сферы: предугаданий того,
что гадай не гадай — случится,
в поисках тех подпорок, чем подпереть это знание.

Г л а в а III

Смотришь — и занят, и нет причин
перевернуть страницу: черенки, отростки,
прутики, ответвления. Лучшее время то,
что преисполнено любованья; оно
не течет напрасно, оно производит что-то,
может быть, новое Время, даваемое, не отнятое
у тебя. И если взгляд попадает на человека,

его лицо рассматриваешь как плоскогорье,
только с меньшим количеством
подробностей наслаждения. Взгляд,
которому не во что упереться за отсутствием стен,
строений, перегоронок, блуждает где-то,
где ты ничего не знаешь, запропавши,
словно сын блудный, в какого тебе превратиться
несподручно, как есть ты дочь.
Женский взгляд на вещи — подмечает
формы единства, пуповинные связи; бытие, природа —
вот в чем ее режим шадящий, вот в чем
принцип дележки, который включает
в свое „имею в виду” и меня как объем работы,
приобретенный с рождением. Похожее все,
как будто вот-вот припомнишь что-то такое,
на что это все похоже, всех прообраз
подобий. Ищешь, но одинакового не найдется;
ничто не напрашивается на сравнение,
оно на ум не приходит. Ты пройдешь, а это
останется. Вот кто: пейзаж — одинок;
вот кому: уйти некуда — хуже.

Г л а в а IV

Звуков, кроме как издаваемых ветром, никаких;
его клавиш из только шипящих согласных
составлен — безголосый Моцарт.
Тянет бесконечные фразы. Обрывки повторов
бросает в жестковолосых смычков пуши;
кружными путями ищет захода в облачную мерлушку
в надежде наткнуться, как в симфонии „Юпитер”;
снимает шумовую накипь. Гармошку дыхания
до дурноты растягивают. Драматургия фильма
немного. Так не играют, не исполняют,
но производят действие жизни, трагическую
заготовку. Сердце в своем мешочке унывает.
Беспокойство, близкое к умалишенью,
сообщает ему о столь великом,
о чем в безветренную погоду не станешь думать
и что обернуться чревато едва ли к лучшему
для него переменной. В полдень
ветер собирает в кулак пространство,
ударяет в тарелки зенита — раздается
беззвучное громыханье. Медная рябь,
слепа, тренирует влюбчивость слуха,

возвращает в детство, в тот отзвук Времени
обо всем, что прежде болело. Мощным выдохом
на траву накатывает, обожанье наращивая
не к предмету только, но повсеместно,
распространяясь, как свет рассеянный,
как запрос на почту о невостребованной любви.
Такова здесь форма существования,
и человек есть следствие этой формы —
она-то равенство и есть, раз смеешь любить
то, чему тебя вовсе не нужно,
что в неведении о тебе, чему ты не понадобишься
никогда (оно-то вечно!), если способа не найдешь
для доказательства самого себя,
как теорему из исходных данных,
кто ты есть или кем ты — еще немного,
и можно будет сказать — была. Вот что,
кроме амадеев великих, с жизнью тебя примиряет,
с неестественным естественным ее концом
неизбежным.

Г л а в а V

Вдоль дороги увлекшегося родника
захлебывающиеся речи с полным ртом камней
по дну канавы — тот еще оратор! —
к публичным готовится выступлениям в низине,
когда станет рекой Делаварой (на ту же букву!).
Сбегаёт мимо клавиатуры поленницы дров,
по ходу распиливания прибавляющей
регистр за регистром, рядом с которой
недостаток речи ручья все безнадежней.
Романтизм, что дорогой, что дешевый,
этап пройденный, и на том спасибо.
Проживаешь частным лицом, без бурь, без борений,
не геройствуя, черпая силы из внутренних
источников собственных полезных ископаемых.
Неизвестно еще, что труднее. Довольно того,
что глаз, обычно потухший, наплескавшись
в зеленых затоках перевернутой чаши лазури
(„свет-мой-зеркальце-скажи”), светлеет.
Вот опрощение — русский подвиг. Из него выпав,
здесь совпадаешь с миропорядком. Дни,
дети Времени, один за другим вырастая,
дом покидают. Театр планетарных действий
перед тобой происходит; движешься

с ним в едином потоке. Горный максимализм наблюдая сверху вместе с минимализмом простейших травок, производишь свой выбор (лучшая ссылка на географический фактор, раз за него не посадят, вот бы Страбон удивился!), сам сторонником малых мер становишься, постепеновцем цивилизованным неторопливым, умеренным англофилом, проводящим летний сезон в штате Нью-Йорк.

Глава VI

(Не внутри ли себя?) пробный камень кладется какой-то сельской постройки, амбара, времянки, сарая — или это древний могильник? мечта неких предков о земле молока и меда? Те же самые имена на почтовых ящиках вдоль единственной улицы внизу в поселке, что и на памятниках местного кладбища. Рядом с местом захоронения предков пасутся коровы потомка, у которого я и беру молоко (его детишки, замурзанные по-русски, на приветствие не отвечают); чуть поодаль трудятся пчелы другого потомка, у которого мед покупаю. Здесь на ум не приходят мысли о заурядной жизни: достойный житель, его бестиарий. Мы, скучнолицые, с глазами уснувшей рыбы массовые горожане, живем иначе, не знаем, где-то нас похоронят. Или это следствие ощущения, что покинуто место рожденья, причем добровольно, и что жизнь сама по себе, когда не мучительна, то сладка, на чужбинё включая. Этот простор, воздушность, протяженность каждого наблюденья, пока отыщешь, за что б уцепиться, чтобы сравнить, ворошит солому неохотной памяти, натывается на иглу того, что было старинной адмиралтейской верфью на берегу той реки, что стала Летой. Направленье знакомо, да только платить перевозчику дороговато, да и рано идти на попятный, превращаться в подростка, размахивать кулаками, пользоваться то отсутствием выбора, что лежит под руками: местных величин шкалу измерений, каменных сфинксов загадки, скованность юных метафор,

капризы очередных поветрий. Перемена системы мер и весов — той на ту — превращает жизнь во что-то вроде легенды, ибо не до конца в это веришь; так что даже с самим собой отношения изменяются в сторону осязательно большего интереса, даже если это заметно только наблюдателю самому. В свете этих последних открытий я на том свете, где никого из моих знакомых не бывало; словно Тень, сопровождавшая в детстве, материализовавшись, как алебастр затвердевший, во что-то вроде садовой (не лучшая копия!) скульптуры, стоит от автора отдельно, позволяет на себя иногда опереться или загораживает, когда, к примеру, приходится завязать шнурок. Проживаю в сферах, где нет места проявлению энтузиазма в любом его виде; где если и есть достижения, то состоящие в том, что самообладаешь более твердо; где если тоска посещает, то по стихотворению разве что, то есть из этих сфер зафитилит в такие, где никаких плодов не соберешь, что ни посадишь, таково это зерно, что из него произрастает только голод.

Глава VII

Коровы бредут, словно в начале письменности знаки. Бараны гуртом подходят близко; на их телах альбиносовой масти, как после бритья, царапины после стрижки; посадка черномордых голов надменная; по именам различаю: Авраам, Исаак, Иаков, Исав, Иосиф и его братья, оправляться любят именно там, где я загораю. Гоню пугливое племя. Погружение в вязкую медоточивость. Солнце дремлет, закатив ясновидящий зрак; повсюду его присутствие: пушок, реснички. Цикады замерли на одной ноте. Внутри, как будто ты польй, гулко. Собственная рука, как фрагмент утраченный богинь безруких, лежит поодаль. Кружит и кружит ястреб, словно напоминая: есть и не только то, что видишь глазами. Хищность и вечность —

все станет их пищей. Сено в круглых бобинах, как бы сказал знаток производственного искусства, „перекликается” с ракетообразной постройкой силосной башни. Ее космический серебристый купол сообщает о двадцать первом, считая в обе стороны от Рождества Христова, веке; включая будущее лоснящегося чернотелого двухмесячного бычка с хмурым взглядом из-под кустика светлых ресниц (назовем Антиноем), с молоком на морде. Занимают также ежедневные встречи с благодушным меховым зверьком, живущим в норе под камнем; как он называется, мне неизвестно, но сын утверждает, что суслик; надо справиться в словаре по возвращении в город. И еще узнать, ласточка ли живет под крышей, гнездо из соломы и глины, птица с телом, раскладывающимся в полете, словно оно на пружине. Между двумя близлежащими покатосями холмов спит, свернувшись, облака белая кошка, как на просиженном старом диване в круглых подушках, которые приверженцами домашних словечек прошлого века называли „думка”. Чего здесь только не вспомнишь! Даже то, что совершенно, кажется, не занимало: эти, например, подушки; не говоря уж, что их название „произнесь” здесь не страшно.

Г л а в а VIII

Зверобой собираю и тысячелистник для сушки, мяту и ромашку дикую у обочин дорог, чтобы было средство на зиму от болячек. У края пологого поля растет малина. Отправляясь вглубь за красным комочком, под навесом куста обнажаешь зубец сердцевины, он цвета такого, каким бывает только живое. Руку отдергиваешь, смутясь осязаньем, темную от загара и от коричневой тени, еще молодую, не праздную — что хорошо, мою — вот что странно. Сходишь с горы с корзиной богинь плодородия (Флора, Коломбина — бубенчик), с охапкой цветов полевых, для вхожденья в образ стараясь держать осанку, и тут замечаешь

с другой стороны малинника, в лощине,
семейство сохатых: пять человек оленей.
Внизу встречается кошка, вышла охотиться
у дороги, и мне еще неизвестно,
что в октябре увижу ее мертвой.
И если я не зову сюда гостя, то не потому,
что это развлечением было бы лишним;
не потому, что, как в детстве, что ни попросишь,
на все получаешь „нет”; но потому,
что здесь ты как будто не связан
ни с обстоятельством, ни с другим человеком.
Если бы люди были ангелами, их бы и звали
иначе. Ангел еще и тем привлекателен,
что человек и на человека-то бывает похож
редко. Это так, к слову, мысль гуманиста.

Г л а в а IX

Два главных события дня: восход и закат.
Туман поутру заходит в долину между
двумя разъятыми половинами перевала,
как угол простыни натягиваемой. Рассвет
надувает парус в расступившемся море и
отчаливает навсегда. Это не сказка,
и он не вернется. После его ухода
отстаивается осадок чего-то ночного
у горизонта, освободив всю емкость для
алхимика-утра, что наполняет его тем самым —
вечной молодости — эликсиром, запускает
пыльцу золотую в колбу переливающегося
дымчатого стекла. Входит герой: светило,
старый повеса, к дверям спиной
покидает место, куда закатилось на ночь;
от избытка чувств проходится по макушкам
деревьев; львиную — как в прожекторе цирка —
лапу накладывает попеременно на все,
что погладиться об нее взаимно желает,
ползет по склону: луг, поляна,
бугорок, перелесок. Молочное поле пшеницы.
В сомнениях в разные стороны двинувшаяся
роща. Просека с мельтешеньем кочек.
Клевер на косогоре. Насыпь вдоль
грунтовой дороги, ее петелька,
обхватывающая холку кручи, тянущей шею увидеть
собственный хвост за грядой перевала. Косая

кустарника челка. Вельветовый рубчик покоса.
Колкость сухой стерни. Толпа
стариковских яблонь. Маревое травяное,
школа гомеопата. Выпрастывая сноп света,
луч никакую мелочь не оставляет в забвеньи,
так что вспомнишь Моисея, его куст горящий,
брата-левита и народ, стоявший поодаль,
как и ты сама, убеждаясь в чуде.

Глава X

Два раза в день меняется положение тени,
как смена мнений прямо противоположных,
превращающее левых в правых, тех и других
в приспособленцев власти небесных
необсуждаемых абсолютов. Дня золотая жила
иссыкает. Разум, на время проснувшийся,
меркнет. Освещение прибавило яркости,
как в лавке у антиквара, где, чтобы выглядела
позаманчивей, бронзу высвечивают,
чтоб некупивший об этом-то и сожалел на прощанье.
Ухищренья понятны, но, раз показывают,
смотрим дальше. Свет понижается на октаву.
Ниже. Ниже. Завершает опись мелких расходов
времени суток, ее итог к чему-то обязывает,
словно знанье, что кому-то обещано невозможное.
Фитиль керосинки коптит, прикручивают;
то ли один уголек от пожара остался,
дня пепелище. До наступления тьмы словно
произойти успевают покушенье, несчастный случай:
из ранки сочится содержимое сердца.
В огромной давяльне из сложенных с верхом
гроздьев синего леса переливают венозную кровь;
и, когда слабый раствор насыщается сильным,
провисший от тяжести между холмами бурдюк зеленый
наполняется до краев и больше впитать не может,
мы видим саму бочарню с ковшами, висящими сбоку,
Большим и Малым. Их сторожит узколиций
во всем соучастник; каждую ночь подозрительность,
как ворюшка, теряя, поворачивает все больше
к посторонним свое лицо. И на восьмую ночь
его убирают. Нянечки детскосадовой
всходит кругляк щеки; к тяжелой люльке долины
она подходит и, всю ночь не смыкая глаз, качает
бессонно, предполнолуно.

Роксбери, 1987



II

Немецкая тема: к Элизе

Мне, родившейся через десять лет после аншлюса
и слышавшей последних австрийских пленных около „Молокосоюза”,
засыпавшей под этого города диалект, шушуканье идиша за стеною,
где соседи по поводу мировых проблем переругивались между собою,
мне знаком этот запах кондитерских: штрудель, рогалик, хворост,
торжества желанья с синдромом безденежья помесь
в коммуналке огромной, где семеро, как козлят, столов впритык друг к другу
пригорюнясь: стирка скопилась и посуды от ужина гряда.

За окном кухонным сколочен ящик, ледник для припасов,
и расписано по количеству лиц, кому что платить в сберкассу,
на заиндевелем окне глазок отогрел в бумазеевом платье заморыш,
он узнал, что людей сжигали в печах, тут нельзя, да завоешь.
Непонятно, зачем убивать, когда все умрут и сами.
По двору проходит мой брат в сарай за дровами.
Непонятно, зачем, ведь сами умрут, но только попозже.
Видно, ждать не хотелось им всем. Мне не хочется тоже.

Угол кафельной печки, где детство проходит перед роялем,
где на стул кладется немецкий словарь, чтобы локти не провисали;
а уроки дает (вернулась в 20-м) из Лейпцига консерваторка,
муж был медик-профессор, вернули со всеми, но прожил недолго.
То под снег, то под дождь, то весной под капель, птичья трель, синкопа,
распевание в клетке грудной того, отыграла кого ты:
то Вольфганг-Амадей, то Гайдн, то Брамс, то Шуман,
раздается музыка внутри хором с уличным шумом.

С нотной папкой шагаешь домой от Большой Московской,
путь разнообразия кругами: сквозь Загородный или просто
по Литейному прямо, и как-то свернув направо,
подошла к развалинам греческой церкви, как отставший варвар.
Вот что ночью стучало! чугунной битой рушили стены,
и мой дом, как раз за углом, всем вздрагивал телом.
Нет войны, разобрались с калеками у церковей, у рынков, вокзалов.
Так расту, и что-то сильнее меня во мне выросло.

Мне известен стыд нестерпимый, что мама зимой наденет габардин темно-синий, перелицованный, довоенный, воротник — светло-серый каракуль, с плечами на вате, словно Дина Дурбин, трофейная кукла в кинопрокате. Мне известна сытость, когда кусок за щекой, не проходит в горло, деток пичкают, потому что сами от голода мерли. Так, без праздников, в заботах о хлебе насущном — тут до греха ли? Рай пустует, в нем не было никого, пока Того не распяли.

Это место родное, как детство, Лизхен, — в утробе остаться? В полный рост в Музее города фотографии: Мария-Хильферштрассе, солнцем залито море еврейских ворон, на плечах младенцы, руки тянут цветы, приветствуя танки союзников-немцев. В летних платьях, рукавчик — „фонариком”, сумочки, шляпки. Да, чего говорить: „Это стадное чувство, толпа”, — быть ею приятно! Видно, не пожелавшие ею стать из домов не вышли: скеписис лиц на балконах, сип иглы патефонной слыщный.

Мне, прибывшей сюда по раскладу судьбы, по тарифу тех же самых путей и товарняков, жидами набитых, наши лица их генотип хранят транзитом, как на вокзале; в этом городе русскими нас впервые назвали. Возражать пускалась: чужую сметану б не съесть! но к другим потерям присвокупив эту благодать, языку поверим, он условия ставит: принадлежность-отверженность, тем и живы. Есть идея народа, идея себя отдельно от коллектива.

Здесь в гостях покажут тебе альбом: лица юнцов зеленых, ретушируют лычки родным, кто убит, на погонах. Уходя на войну, мой отец велел сохранить книжку Гейне, к „языку врагов” иудей относился благоговейно. Нас, послевоенных детей, ненавидеть не научили, оттого к любви и проявился талант недюжинной силы, то она под свою заставляет дудку плясать, за перо хвататься, есть два-три человека, с которыми связь, и козленочком ставший братец.

Я жила здесь. Ходила в Музикферайн послушать великих, в Баден ездила, знаю, что поезд стучит, как Бетховен, на стыках, возвращалась в город — побыть, мы имперские стены любим, как заляются краской в ответ на закате крестьянском грубом. Я оттуда родом, где город был продолжением тела. Этот я примеряла, носила, как платье раздела, мне неловко в нем двигаться, я — как мишень, на воре горит шапка. Здесь прохожий на красный свет — нет машин! — стоит: без руки — культапка.

Это мысль о смерти, Лизок, перед нею все демократы.
Сказки венского леса, как препарат лечебный, жива пока ты.
И зачем нам дразнить гусей, человека испытывать — не святой же.
На небесном плацу тех же звезд толпа, тех: на черном желтых.
Состоянье, подруженька, человечества плачевно.
Из его одного процента ты сотая доля с чем-то.
Потому играй, фортепьян, натуральный продукт венской школы,
без тебя кто узнает, как музыке этой звучать, балаболка.

Вена, 1979

На тему „Воронежских тетрадей”

1

Мы те последние, кто видел стариков
с печальными совиными глазами,
тех похороненного века чад и вдов,
что нас ответным взглядом отрезвляли

как маленьких: и мукой и хулой,
пропитанностью кухонь выживанья
и тем, как врос веселых детств устой
в хребтину взрослого страданья.

Мы, те, в чьи их глаза в последний раз,
предсмертному обрадовавшись гулу,
отведав жизни распоследний час,
пред потуханьем вечным заглянули.

Туда, не знаю сам куда, вослед
тем стреляным, что на живую нитку
цепляли прочных дум словесный хлеб
и превращали в корм ушной улитке,

в их сердце, в мозг — меж этими двумя
натянутая струнка, как устройство
родного голоса, заложено в меня,
как мирозданья код: „Живи, не бойся”.

2

Книги пахнут крысами и складом,
затхлой гнилью земляных канав,
страхом крови, портвешком помады,
потом каторжанина обдав.

Перенос эпитетов смертелен.
С костью качества разведены.
Мякотью словесной, словно телом,
как в войну солдатику, спасти.

Языком глухих, немых и прочих,
первобытно-древнего костра,
слипшимися комьями ворочать
смыслов, прорастающих века.

3

Я еще ненаписанное говорю наизусть,
не в словесной муке, но в молчании клейком побегов
обнаружив осмысленнейшую не суть,
но для сути извечной кормушку проведав.

От щедрот золотой голубятни в крапиве выросла
нерасчетливой дылдой в домах, зарифмованных тесно,
где как будто не вспомнить строку и ни голос отца,
где глядит с прозорливостью Истолкователь небесный.

Пробираясь внутри зеленеющих прутьев и жил
то ль к теплу, то ль к источнику смысла и света,
на ходу создавая из гласных словам хлорофилл,
обрела, расклевав, алфавитные крошки и клетки.

Так и дятел сердечка морзянку об клетку забудет,
подключаясь всем телом к кровообращению века,
что в молчанку играл на полях площадных нечистот,
переписывал вставочкой ордер, чтоб взяли калеку.

4

Стихотворенье, город-государство,
вселенную, чтоб жить, сооружу,
чтоб восходить и чтоб в Аид спускаться,
и воцарять, как нищий на пиру.

Хозяйствуем: пенька и жгут — „все в семью”.
Для каждой сгнившей щепки свой учет
над океаном, что облапил землю
и тело вздыбившееся не отдает.

Им завладел необоримый Эрос,
подталкивающий, как изнутри
тем непочатым краем ритма древних,
что письменности знак изобрели.

Клокочет слог. Согласные дробятся.
Слои геологических пород
сродняются, сместясь, в другие братства,
как новый династический народ.

Дают – бери, присваивай и властвуй
простолюдинами словесных форм,
с мещанским гамом поддувая в раструб,
Иерихон напоминавший рот.

После 1984-го

Смотрите ж, дети, на него...

М. Ю. Пермонтов

1

Мальчик читает с листа
в соседней комнате Баха.
Буквы откнули уста,
замочную скважину: вылетит птаха.
В прежнем издании внизу
пометка: „Для лютни”.
Дождь вьет веревки в глазу
у фонаря вторые сутки.
Дерево спит на ходу,
словно младенец под ливень,
голову к стенке приткнув.
Жизнь все счастливей.

2

Это пугает. Терять
есть что, как Йову.
Не к обладанию страсть
и не к потере: смешного
мало, поскольку к себе
не наблюдается страсти,
лишь появился в судьбе
слабенький признак участия
в ней магнетических сил,
двигающих легонько,
словно по воле светил,
словно слепого котенка.

3

Дождь, переписчик нот,
правит и правит строчки.
Звук все лучше. Течет
и на судьбу не ропщет:

еще не время. Фонарь
слепнет от молний в нише,
щурится: жив, но стар.
— „Сын?“ — Родила. — „Замуж?“ — Вышла.
— „Что-то не так?“ — Все так,
но ожиданье исчезло.
Жизнь не наступит, дохляк,
самой себе врать нечестно.

4

Это-то жизнь и есть
та, о которой мечталось
в детстве: „Я близко... здесь...
я наступлю...“ — Настала.
— „Ты уж довольствуйся тем,
детка, чего есть вдосталь,
что повторимо, глеч,
что обветшает в носке,
что проходит...“ — Прошло.
все уже с нами почти что.
Теперь случится лишь то,
чему надлежит случиться.

5

Жизнь — это больно. Не ждешь
другого. Словно про роды:
знаешь заранее. Дождь —
вот то, что нам от природы
еще осталось; озер,
рек разлив, побежалость,
горы, хребтов упор
туда, где юбка задралась
в спешке светилу зайти,
за собой подоткнувши полость,
чтоб ни следа, ни зги.
Бах — на четыре, на три — мой голос.

6

Брат так не глоткой. — „В кусты?“
— Всех обмануть, как будто
ты и не жил, жил — не ты,
не ты умирал и умер.
— „Понезаметней пройди
тебе не удастся, не пробуй.
В конце-то придется, поди,
прилечь: катафалки, дроги“.

– При всех? уволь! без меня.
– „Поди-к, поучаствуй”. – Скука.
Как ко греху клоня:
„Тело-то тут, подруга”.

8

Ближе к вечеру я
сгущаюсь, как Тень у Шекспира.
Тяжко. Конец. И дня
не удержать и мира
не переделать ход.
В египетской „Песне арфиста”
„Иди” – имя смерти. Уйдет.
Все время хотелось скрыться.
Зажить макарон иным,
в другом побыть измеренны:
я, ты, он, она, мы –
в крепости местоименя.

9

Новое (это и я)
не вечно. Вид циферблата
дергает глаз, не давая житья:
мне грош цена. Эта трата
(стих забесплатно поря),
будь я на вашем месте,
тоже сделана зря,
раскошелитесь если.
– „Не состоялся, а – мог!” –
любому, кто знает, дам фору,
их прежде жалела: сапог
прийтись мог им впору,

10

теперь жалею того,
кто состоялся и носит
в колодках тех сапогов
обрубок, стертый до кости.
(Дальше – в оба конца.
Один – где-то там, где Данте
баланду травил мертвецам,
другой – там, где свет от лампы
дотянет наш силуэт
до идеальных пропорций
Музы, Психеи, где нет
ни лишнего мяса, ни торса.)

11

Некому слова сказать.
С детства привыкла. Вернее,
не с кем не то что власть,
но сойтись не умею:
самой себе не соврешь
о самой себе, не обманешь,
сколько ни корчи рож
Муры, Муси и Мани.
Есть же счастливицы! и есть
счастливицы: все им просто,
плюс ко всему райсобес
пенсию слал на сиротство.

12

Дни напролет в мечтах
погружаться в зелень и сладость,
окружающих не замечать —
это можно деревьям, в их власти
строить лиственный храм,
громоздить, как атланты на плечи,
к мозаичным своим куполам
крестик, звезду, полумесяц
на ночь. Экуменист —
древо! губа не дура,
слушали греки, кажись,
прорицания дуба.

13

Слово. Словечко. Слово.
Язык листвы непонятен
не больше, чем хинди. Отцов
язык, праотцов, с тем ятем
паузы, чтоб слова
разделялись по смыслу.
Шелест. В нем: раз-и-два,
сыгранности мускулиность.
Так занимался Бах,
ветер листом играл,
ветки усвоив взмах:
"Noch einmal, noch einmal".

14

Я проживаю жизнь
как-то отдельно от прочих.
Пьет на Фонтанке чиж

что-то крепкое очень.
— Нам ли желать достичь
траектории звезд восходящих,
не скопив магарыч,
чтобы поставить зрячим.
На потолок легла
тень фонаря — узором,
маленькие тела
звезд из „Ночного дозора”.

15

Небосвод, как гранат,
звездами туго набитый,
как кошель: кто богат,
да и держит открытым;
как потерянный шифр
рассыпавшейся вселенной,
память о ней хранит
ходиков лик настенный.
— „Итого...” — подсчитал.
„Улица. Ночь. Аптека.
Блоки. Жизнь по часам,
как топор дровосека.

16

По производству святых
выполнен план в народе.
— „Дождик как будто стих?”
— Нет, продолжает вроде.
Звук переходит в звук,
пауза — в хор „Аллилуйя”,
стая струек-подруг
матрицу гравирует
дома, стены, окна,
крыши, подъезда, арки,
мужчины, его зонта,
плаща, поводка, овчарки.

17

С Бахом покончено и
с шурушаньем страниц за стеною.
Дней часы сочтены,
ночи за счет — удвою.
— Чем человек живет
во второй половине жизни?
если продлил свой род,

отлюбил, отжелал? корыстью
дольше прожить? смешно.
Превращается в цель из средства
Время по ходу. Оно
тот палач, кого любит жертва.

18

Состоянье любви
не посещает больше;
всё, что люблю — внутри;
те же, кого всё дольше
продолжаю и всё
тех же, и всё вернее,
проживая свое,
тоже ждут Бармалея.
Тем-то любовь и страшна,
что разлюбить невозможно:
влип и тебе хана,
пропадай ни за грош ты.

19

Вслух. Про себя. С фонарем.
Бдишь, как больной, до рассвета.
День вырастает кругом
в больничное переодетый.
Дождь понукает: „Пшла...” —
клячу-ночь, чтоб скорее
цокала. Трогает мгла,
как повозка за нею.
Дальше видишь в окно
ночи и дня границу:
свет, где было темно.
— Веревочке как ни виться...

20

Смолк, кто ночь задержал.
Вскопана строчек грядка.
Газировкой дождя
слов смочить сухомятку.
Клен в окне выдает
симфонический танец,
многорук поворот,
как на перроне прощаясь;
листья: их „М” и „Ж”
телом к стеклу прижались.

Радость давно уже
как побочный продукт печали.

21

Спят. Кто дремлет живой,
а кто успокоился вечным:
там отпускают с лихвой
сна, Воскресеньем не лечат.
Если продержится мир,
себя не разрушив... — „Взбесилась!
это такой же миф...”
— Это соблазн, один из.
Так же, как думать за всех:
копим на смертный грех.
Если будет война,
сделает всем „на-на”.

Тексты к шести мещанским песням

1. Романс перед отлетом

Облака развеваются — вздутые ветром одежки
на бечевках невидимых, будто бы есть перед кем
оттенить высоту своего положения, Боже,
для которой любое сравнение — натяжка, певец-свиристел.

Ты гадаешь, каких собирает светил поднебесье
ко двору — знаменитостей, рухлядь скрывая свою,
наводя марафет, как диктует ночная профессия,
подозвав безмятежно на угол, как в детстве „люблю”.

География карт, очертанья великих открытий,
кругосветных шатаний по стрелкам магнитных полей,
астрономия звезд отраженных и парусной прыти,
краснобай-мореплаватель: перец, гвоздика, шалфей.

Свет и луч, и частица. Закат и слепящая бляшка,
где затянута ремень горизонта и споров с судьбой.
Острова Возвращения возникнут, как только отчалит рассказчик,
с аргонавта спросив шерсти клочок золотой.

Ждешь, чтоб в мире улучшилось все, собираешь манатки.
— Что-то птичка-певунья линяет, — замечает рабочий народ.
Что содралось на небе, залеплено тусклой облаткой,
разбежаться б подальше и ласточкой чиркнуть, и снова вспороть.

Ленинград, 1978

2. Семейное танго

С. Ё.

Слова и музыка, соединяясь в пары,
заказывают: песню, песню, песнь.
Ну, неужели же настолько я бездарна —
ни песню сочинить, ни спеть.

Пока с тобой мы друг от друга не отвыкли,
ты подбери-ка аккомпанемент,
не ты сказал ли, что в земном дурацком цикле
все прошлым делается, будущего нет.

А я про будущее ничего не знаю,
лишь то, что в песне будут грустные слова;
как станешь петь, так все кончается слезами,
как перестанешь петь, так тоже неправ.

Уж если дело докатилось до ромansa,
исполним с доблестью и с честью допоем,
покуда ты со мною сам не распрощался
словами с музыкой, покуда мы вдвоем.

1984

3. Прощальный вальс

Из двенадцати месяцев прошлого года
один был счастливый — ноябрь.
Кто-то скажет, что это не мало, а много,
согласуюсь: год окончен, а с ним календарь.

Каждый месяц показывал фото Эйнштейна,
под портретом слова, их ученый изрек.
Чьим-то дедушкой был он в сем мире ничейном
и хотел нам помочь, да помочь нам не мог.

В ноябре у Эйнштейна читала, что знают
что-то в мире о мире ученые все,
что политики вовсе о мире не знают,
но сменилась цитата его в декабре.

И висел календарь с телефоном бок о бок
у окошка, где, шаркая, шел листопад.
Телефон не звонил, срок любви был короток,
да и вальс продолжаться не хочет никак.

1986

4. Подражание по случаю юбилея

Проснувшись на рассвете, всякий раз
таблетку утра, сморщившись, примите,
вдыхайте веселящий газ событий,
такой слезоточивый мутный газ.

Свет солнечный на четверть, нет, на треть
заполнит комнату, и сразу станет тесно
от укоризненных контрастов бессловесных:
кому, кому в глаза бы посмотреть?..

Прописано одной простой душе
жить терпеливо, ждать, что будет дальше,
в подробности вникать, взрослее ставши,
не думая о завтрашнем гроше.

Гулять подольше, слушать щебет птиц,
им подпевать на языке отчизны
стихами, но не от хорошей жизни,
а от всего: границ и заграниц.

Ведь вот и Окуджаве шестьдесят.
Кто б мог подумать! нам-то только тридцать,
хотя с хвостом, но нечем нам гордиться,
а ведь могли б, что может означать...

Что может означать не тишина,
но и не шум, пластинки придыханье,
страющейся сдвинуть заеданье:
сам-друг и одинешенька-одна.

1986

5. О числовых выражениях

Все-то числа нечетные, числа нечетные,
все-то троек, семерок цифирь приворотная
подступает рядком к механизму исправному,
пререкаться с судьбой было чтоб неповадно мне.

Проставляются данные нумерологии:
все девятки, все профили их одноногие,
кучерявого росчерка барашек каракулевый,
как с твоей головы прыдок номер порядковый.

Показатели множества жестковолосого
сами строятся в круг циферблата курносого,
стрелки с точной поправкой пути поворачивают:
то, что с нами творится, то Временем начато.

Надо черным по белому путать не очень-то,
забегая вперед закорючками почерка:

а что на два не делится, в записи буквенной
то одно на двоих затевают как будто бы.

6. С метампсихозом

У любви есть предел то ли прочности, то ли порядка,
не скажу, что иного, но все-таки где-то вовне:
той шкалы измерений земных неразношенно-парных,
где, не верю сама, побывать посчастливилось мне.

Это сферы нездешнего способа коммуникаций,
где двоим повезло невесомость познать бытия,
но кто рядом парил, передумал туда возвращаться:
то ли страх высоты, то ль эмоций, то ль держит семья.

— „Это, верно, гордыня твоя примириться не может
с тем, что не полюбили тебя, форму речи одну
разделяя, в тех сферах возникшую”, — тут посмеешься
над собой, если плакать не станешь, греша на судьбу.

О комфорте эпохи не слишком заботится Время,
ни о жизни, отдельно текущей, одна иль вдвоем;
к речи той чудодейственной повода ждешь, к ней прибегнуть
и в те сферы вернуться невредным ее колдовством.

Дорога на Страсбург

В полях пасущихся коров
прямоугольные заплаты,
повторенные многократно,
как слово „смерть” или „любовь”

на языке живых племен,
как мы, не выпросивших небо
вернуть ни плоти с кровью хлеба,
ни чтоб отец был возвращен.

Равнины вышиты крестом
могил близь Марны и Вердена,
сим рукодельем равномерным
земле мы саван шьем и шьем.

1985

...

Памяти Памелы Д.

Я хочу умереть под дождь,
чтобы было много воды,
чтобы бесполезно плакать, не переспоришь,
чтобы только сын мой
и мой читатель, ты,
большого, как говорят старики, не знали горя.

Калифорния, 1988

Причитание

Меж одним и другим, опять-таки, стихотворением
миновать успевают века бесполезного времени,
и все смутные годы и всех самозванных димитриев
помещаешь легко в его платье, навыврост пошитое.

Меж одним и другим не часы пролегли, и не сутками
измеряешь молчание строк, но костяшек постукиваньем,
так что слышен становится голос тоски смертной, Смертушки,
от которой спаси вас, спаси вас Господь, мои детушки.

1988

Песенки Офелии

1

Что, милый, выходя во двор
и видя веток шевеленье,
с листвою вступаешь в разговор
за человека наименьем...

Что, милый, прислонясь к стене
и глядя снизу в поднебесье,
печалишься не обо мне,
не ведая, что с вами вместе —

с тобой, с листвою и со стеной,
с окном и с незакрытой дверью
над всем всходящею звездой
я настаю и в чудо верю.

2

Меж нами полсвета сейчас.
И ночь, звездным шелком струясь,
несет балахона поток,
Еще не светлеет восток,
уже не темнеет у вас.

Луны золотая хоругвь
задержит процессию вдруг,
и времени замерший миг
нас взглядами перекрестит
на точечке звездных подруг.

И стронется ночь, как река,
как свадебных шествий толпа,
небесному пологу вслед.
— С тобой не расстанусь, мой свет.
Идут. И по свечке в руках.

Сонет: в обратном направлении

На рассвете, когда в одиночестве Ангел с крестом
появляется тихо в дворцовом окошке одном,
словно пункт наблюдательный Александрийским столпом
с караульным поставили, там мы себя и найдем.

Пусть не в близости явной, но все же и невдалеке,
не в колонне других, а вдвоем, без вещей, налегке,
прошатавшись всю ночь, направляемы жаждой к реке,
то ль походкой самую, гудящей от стен в столбняке.

Как в объятия пасть с мускулистой водой, что не врет,
что скучала по мне, словно целую вечность, не год
(тут мой друг, доедающий жизнь, словно свой бутерброд,
на скамейке, где площадь и садик музейный, уйдет),
но по города телу скучает мое естество,
ненадолго останусь, лет, может быть, только на сто.

1988

Сонет: на мотив английских метафизиков

К лицу привитым глаз двойным дичком
...разрезом с косточкой... хрусталиком, вошедшим
в трепную мякоть... белым почтарем,
под веко, в маленькое небо, залетевшим
...догадкой радостной иного бытия,
воскресшей не для бренности конечной
...так смотрит, словно я сама себя
заметила впервые... летней речкой
младенчески-разумной, что родник
за ручку в океан препроводит...

Всей дельтой кровеносною во мне,
всем деревцем, во мне еще растущим,
костей тоскою по сырой земле,
так по тебе я... далеко живущем.

1988

Четыре связанных между собой стихотворения

1

Растерявшихся связок молчанье, то ли шелк теноровый,
с языка вместе с вдохом воришкой сорвавший и слово
самой царственной кражей: любви чужой присвоенем,
не смутившейся в голосе скрипом отмычки, ни в призыве пеня.

„Все со мной происходит, что написано в книгах”, — сказавший
посмотрел, словно небо глядит, безответно и тяжело.
Кто ты? что же нам делать при таком зреньи, двум зрячим,
как и первые те, наготы своей райской не пряча.

Человек начинается с за, он не может быть против
власти фраз нерешительных из-под ребра, этих азбучных точек
приложения уст терпеливых, труда без конца, без начала,
что б там жизнь о бессмертии сердцу об стенки внутри ни стучала.

В милом нет повторения. — Милый, толпою поникшею тучи
в них стоящую влагу сдержали разбродом плакучим,
крик, проглоченный в детстве, в седьмом сберегается небе,
где себя мы не знаем, никто — из двоих нас — там не был.

2. На летном поле

Кладет сахарок, и от нежности голос садится,
и речь добывает из мысли такой сокровенной,
как будто сказалось само, или проговорился
язык о запретном и сам замолчал суеверно.

Отсутствие звуков добьется от левого бока
признаний, что прежде казались непроизносимы;
минутная стрелка мигнула: у Времени мокро
в глазу, стекленеющем от постоянных заминок.

Обняв, упираешься в связанность неба с землей,
в черту, проведенную к выходу канатоходца,
где действие жизни, серединой своей золотую
наполнившись, в замысел первоначальный вернется.

Еще успеваешь в глаза посмотреть напоследок,
лицо подставляя бархотке веселого глянца,
с которым глядит, позволяя о главном не ведать:
кто есть мы друг другу, чтоб так говорить не стесняться.

И вслед за подъемом под тяжестью всех метафизик
свернувшийся в трубочку катится ватман пространства,
расплескивая на лету под стартующий дизель
дрянного дешевого кофе бумажный стаканчик.

3

Звуком, словно пытается скрыть от себя самого:
эти мысли, как музыка, их не сказать словами,
все слова чужаки (нараспев произнесено),
лишь „люблю” разрешенное слово одно между нами.

И тебе не послышалось: грохнет парадная дверь
разработкой стиха городского „внам не сдается”,
и щенячий скулеж, да и попросту глазу поверь,
как пойдешь за дровами в том детстве, в дворовом колодце.

Безотчетно гляжу: заколоченный на зиму вход
в передвижке размытой, где крутит кино поднебесье,
у любви есть предел, то ль мостки обрываются строк,
то ли лесенка рифм из тобою припомненной песни.

Бултыхнется светило в те прочерки, где полынья,
разлетается пух и перо, взбивая постель брусчатки,
и всем телом месяц двенадцатый на меня
навалился, кусая в сердце, как бешеная собака.

4

Любовь сочиняет язык, обороты речи,
понятия разбирает: приставка, суффикс,
препятствия устраняет внутри словечек,
еще не стоявших рядом, встав, неразлучных.

„Бывает любовь”, — узнавшему понаслышке
сама, сих будучи чувств неумелый податель,
пишу, а порядок слов в предложенье вышел
так тесен, сжатый словно одним объятьем.

„За что я люблю”, — не находит себе объясненья,
лишь сыщутся сами собой, из запасов словарных
на свет извлекаемые нежноротостью всею
словов, как двойняшек, аукающиеся пары.

Ты разные знаешь, не существовавшие в мире,
от недосыпанья припухлые, те, что з а строчкой,
слова, невмещенные ею, откуда и взмыли,
от крыш оттолкнувшись, курлыча журавликом черным.

Возьми на прощанье, на память стяни узелочком
того черновик нацарапанный и незабытый,
что в голову нам приходило двоим среди ночи
в неласковых гнездах, колючей кириллицей свитых.

1988



III



Перерыв

Встает, разгибает спину,
смотрит в окно на голубей внизу на крыше,
вспоминает, что нужно сыну
купить то-то и то.
Надевает платок, пальто,
проверяет, на что горазд кошелек,
есть ли в кармане ключ. Запирает квартиру.
Четыре коротких пролета,
стеклянная дверь, не приобретающая вид парадной.
Воздух. Улица. Переход.
В овощной лавке мимоходом корейцу: „Хелло”, —
проверяет дату на картонке с молоком,
берет коробочку помидор и укроп к салату.
За газетой в соседний киоск,
после приветствий иранец с фаюмским лицом
говорит, что не потеплело.
— „Да, становится холодней. Декабрь”, —
забирает сдачу.
Мимо цветочного магазина,
поздоровавшись с израильтянкой-владелицей,
поправляющей на полке в ячейках сухие букеты.
Мимо исплаканного лица Варшавского гетто
в витрине „Ликеры-вина”, не прихватить ли к обеду?
— ни к чему; про себя подумавши: „Винокурня”.
Мимо запаха пиццерии на углу,
в ее открытом окне торчит итальянец,
опираясь на по локоть голые руки,
словно он нарисован.
Кивнув ему, добавляет: „Холодно”.
Дальше, ответив несколько раз
ослабившимся соседям,
мимо китайского ресторана на углу напротив.
Стоя на переходе,
смотрит в перспективу квартала,
где на ярком небе располагается парк,
как чугунный памятник шевелюре Людвиг ван

Бе... не опоздать бы в банк.
Теперь канцелярский товар,
здесь побудет;
кончается бумага для пишущей чужой машинки,
характер которой соответствует ее хозяину,
им обоим и собственному названию „Грома-колибри”.
Надо найти для него открытку,
заодно поздравить кого-то с чем-то.
Ветерок. Газета.
Вспоминает, есть ли хлеб-
соль, что в холодильнике, каковы запасы,
надо когда-нибудь постирать,
когда было метено в последний раз?
Взгляд, зацепившись за итальянца,
живую витрину, снова на парк,
потом под ноги на каких-то сорок-ворон,
что облюбовали клен, живущий у самых окон.
Хочет дышать — гулять — бродить,
но мерзнут руки, полны покупок.
— „Как это можно забыть перчатки в такую
погоду?” — близкий голос матери, которой больше
нет. Не сразу справляется с замком,
входит в дом.

Нью-Йорк, 1987

В самолете

Скромненький аэропорт Сан-Хосе,
без излишеств. Сперва пристегнись.
Уткнись в окно. Волю — слезам.
Смущаешь соседей, еще которых
не рассмотрела. Скучные лица,
все о них ясно, как в трамвае.
Тронулись. Шуму мотора сопротивляешься,
потом привыкнешь. Неразборчивые
рекомендации, как — в случае чего —
будем спасаться. Показ группы статистов,
одетых, как синеблузники, но глаза
не смотрят.

Оторвались. Темно-зеленые свечки кипарисов,
красные хвойные частоколы секвой,
все как будто сработано примитивистом.
Разливы луж после ночного дождя,
плотно набитые облаками, как „Мать и дитя”,
то есть детьми — только происхождение
в обратном порядке, как и само кучевое
движение в лужах, едущее туда,
где место, остыв, по тебе скучает,
где в твоей кровати будет спать тот,
по кому по странности дружбы скучаешь ты,
из упрямства сердца, знакомого с феноменом
таковых отношений уже лет тридцать,
двадцать из них — к конкретным лицам,
десять последних — поблизости их не имея.

Набирание высоты. Земля, словно спичечными
коробками, выложена прямоугольниками
крыш, как будто смальтой византийских
мозаик. Подсветка солнца. Между
заполненными участками от поселка
к поселку — пустоты, можно подумать,
что выщербленные временем. Шоссе

с петельками развязок гибко вьется,
обводя, как полагается, мотивом
виноградной лозы; от него отходят
ломкие крокелюры местных дорог,
словно трещины в этой фреске, — „Сколько
можно течь, перестаньте, слезы!“ —
это не я, это отдельная жизнь плача;
он приходит, когда захочет тебе
о тебе же самой рассказать.

Исчезают поселки. Под нами поверхность
превращается в гладкий мрамор
с жилками, коричневатый с белым,
в черную с желтым яшму, в серый оникс,
словно среда обитания для третичных видов
или — больше похоже — на ватиканский камень.
Попадаешь как будто из одной части
несуществующей империи в другую,
из остатка в остаток другими выпитой чаши.
От того, что не может на ум не прийти,
надо бы — за очевидностью — отказаться,
если бы что-то не приковывало взгляд,
хотя внутри ты как будто давно отмахнулся.
Мы повисли над всем над этим
разнообразным однообразием — возможно,
чтоб получилось вспомнить совсем давнишнее,
как когда-то и я зависала над таким же вот
камнем: в инкрустациях эрмитажных
столешниц, флорентийских плакеток
сундуков в том же зале. Тогда казалось,
это лучшая часть дворца. Музея, то бишь.

Небо очистилось. Облака удалились
скопом, два клочка оставив, как двух
близнецов — две рыбки, отбившиеся,
как молодняк, от рук. Стоп. Как бы тебя тут
не повело вспять к застарелой теме любви
к гороскопам, к невозможности отношений
с неподходящим знаком... только этого
нам сейчас не хватало, платок без того
зареван. Природа плача: непосредственный
повод раскручивает, недоумевая
об источнике горечи, причину за причиной,
как волны, что без удержу наплывают,
по себе оставляя гальку, водоросли,
обломки того, что было когда-то обычной

жизнью, казалось нормальным,
но перестало.

Взяться за книжку. Перевод с санскрита,
девятый век. Текст есть способ,
чтоб красоте проявиться. Ее суть и образ,
будучи частью природы, боготворимы;
значит, и перед текстом можно благоговеть
без особой натяжки, что вовсе не
означает: перед автором. Это они
понимали, как истинные — произносить
картаво — „демократы”, что поклоненье
живому мешает быть.

Так происходит противосложение темы.
Влечешься назад заглянуть в глаза тому,
к кому подойдя поближе, могла бы сказать —
о том, что прежде было лишь словом,
вставляемым в стихотворенье и более
не имевшим употреблений в словаре
обстоятельств жизни, но нынче в язык
превратилось, разговоривший сердце,
как будто оно само себя, наконец,
вспоминает — сказать о любви к человеку,
о той, что его открывает. Пока не пришлось.
То, что чувствуешь, то и есть правда.
Книга. Страницы пахнут ее домом.
Вдыхаешь. Этого хватит надолго.
Неровностей переплета касаешься, словно рук,
из которых она к тебе попала и до
которых расстояние увеличивается.
Тебя все дальше относит. Улетаешь.
И не вздумай гадать, что эта даль
потушит и что, как проникшее в иллюминатор
солнце, она раскаляет. Точно знаешь,
нельзя попросить ни о чем, даже о самом
простом: „Меня помни”.

Это над озером Тахо. Снежные горы.
Заметен пафос, сценический бархат складок.
Развозят напитки. Минеральную воду,
от еды отказаться. Летишь и сквозь окна
восполняешь пробелы образования; то,
что было когда-то контурной картой,
раскрашиваемой, чтобы было красиво,
словно это урок рисования, а не предмет

изучения — география — предстала глазу. Покрытие расстояния собственным телом придает ей реальные очертания, хотя бы знаешь, о чем идет речь. Ощущение горизонта, как пружины растянутой между тем, куда, и тем, откуда, создающей акустику под этим наполненным светом куполом, где не сливаясь с мотором, присутствует различаемый ухом призывок, словно память об остановленной музыке, что уже не слышна.

Кончился этот период жизни. Перелет — последнее, что его завершает. Унаследованная от Шехерезады страсть к продолженью рассказа — не скоро и вообще неизвестно, удовлетворится ль. Там, откуда лечу, по утрам просыпалась на горном горбе верблюда в стаде других, сходящихся к водопою океана, с товаром, едущим в караван-сарай в гарем к султану, миражем колеблющимся вдалеке — звездным шатром над головой ночами, теми, что переплавляли в жидкое серебро океан, сморщившийся, словно ребенок с краешка блюда подул, остужая. Этот, словно младенческий, мир покидаешь; столь новый, будто открылась внутренность раковины перламутровой, выловленной при тебе; мир, словно в день творенья, где научилась опять тому, что умела в детстве.

Как советовал мне один человек великий, а его надоумил старый раб перед таверной: „Так говорят поэты, мы с вами, — произнес мое имя, взглянув со значеньем, — так говорить не должны”. Хорошо, не буду. Только что делать с тем, с чем невозможно расстаться прощающемуся глазу, не потому что пытается все напоследок запомнить, но чтоб пейзаж впустить в сердцевину зренья, через зрачок, хрусталик, на дно глазное. То, что во мне желает остаться, там ему место.

Перед отъездом ночью смотрела, как прибавляется сила утра над плоским холмом, что закрывает полнеба. На нем, как на полке, с глаз долой подальше, составлены, словно бюсты романтиков, взлохмаченные деревья: Брамс, Шуман, Шуберт. Обо всем об этом: о них, о чужих советах, которым больше не следуешь, о том, что происходит с тобой — и то ли же с ним? — со всеми нами? думаешь, как о смертной части бессмертного, но кончается этот период жизни.

Замечаешь, что у соседки слева вязаное крючком самодельное платье; наверное, по воскресеньям ходит в церковь. Особое качество приветливости немолодого лица. Разговор заводишь, чтобы оправдаться перед внутренним ощущением, извиниться за беспокойство: „Беспричинные слезы”, — от себя отвлечься спасаешься в человеке. Показывает: „Солт лейк” — соляное озеро, прибавляет: „Непостижимо, как первым переселенцам удалось одолеть эти горы — „хребет Америки” — так их здесь называют”. Позвонки, искривленные тяжелой работой удерживания костей континента вертикально. С самолета это похоже на средневековье: крепости, башни — тоже как будто куда-то тебя возвращает.

Вперемешку с мраморными участками пошли поля в полоску, как пижамы сельского кроя, брошенные сушиться. Уже не приходит сравнение с одеждой заключенного, что доказывает, что живешь в другом мире. Хозяйственная геометрия или: заготовки выкроек к игрушечным зебрам. Айова, штат кукурузы, вспоминает Хрущева. Сверху начинает казаться, что мечта механика об идеально ровных поверхностях близка к осуществлению: движение не останавливается, скольжение превращается в перпетуум. Так бы и нам. Вот бы чему,

хотя б и с погрешностью, научиться:
потенциалу толчка, с которым ты родился.

Мысли пересекает река. Миссури или
уже Миссисипи? С высоты земля — это
райское место. Создан только пейзаж
пока что. Озера поменьше — круглы,
побольше — овальной формы. Дорожки
сплетаются нежно на загривке леса.
Пусто. Ни животных, ни семейства Адама.
Объявляют Чикаго. Появятся люди.

Выходишь. Двухчасовое (билет был
самый дешевый) пребывание в аэропорту.
Название отвечает смыслу — ворота
в небо — архитектурой наступающего века,
до которого если дожить, то в нем предстоит
умереть. Времяпрепровождение здесь
не скучно: то попьешь водички, то
забредашь в на удивление для такого места
хороший книжный магазин. Рейс откладывается.
Двуязычные маленькие стихотворения Ницше.
Белль. Кальвино. Из наших — „Собачье
сердце” и Бродский. Задумаешься
над сочетаньем.

Время подходит. Объявляют посадку
на нью-йоркский рейс. Промотка того же
ролика, короткометражка взлета.
Все дальше тебя уносит от тех, кто
тебя обнимал на прощанье, и от того,
с кем, сама виновата, не попрощалась.
Хорошо быть взрослым. Плохо сознавать
себя той же самой, чье горе детства:
ее никто не любит. Постепенно темнеет.
Внизу зажигается город, словно чаша небесная
перевернулась от тяжести
золотниковых созвездий. Их порядок
смешался, не угадаешь ни прежних
названий, ни того, что опрокинутость эта
может сулить тебе по приезде. „Изменившие
место — судьбу меняют”. Так летишь,
не зная еще, кого покинул, ни того, кто тебя
на другом конце встречает.

1988

В доме Карла Джерасси

Ничего нет лучше, чем темнота при лампе,
молчание отзвонившего телефона и знание,
что позади навсегда остались все долги,
кроме письменных и последних.

Ничего нет лучше, чем одинокий вечер,
а такой особенно — в деревянном доме,
в лесу, в глубине холмов, с океаном,
скромно синеющим на горизонте,
но чаще с по нему разостланным белым,
как второе небо, войлоком тумана.
Что-то здесь от Данта, но не время
припоминать, из какой части, да и сам ты
непонятно кто, наподобье тени действующее
лицо, помаючишь и, мимо пройдя,
с глаз долой исчезнешь.

На стенах довольно много графики Клее,
хватило б вполне на показ в музее;
и еще порядком различного рода
современного безобразия под названием
„модерн арт”. Самое лучшее — тонированные
скульптуры малых форм доколумбийской
Америки. Поздняя классика майя — так их
называют в книгах. Классика примитива —
словосочетание, приглашающее поразмышлять
о прихотях терминологии. Мимо них проходя
по утрам, молча здороваюсь — эти древние
души, судя по сдвигам выражений их лиц,
меня узнают в ответ.

Идеального качества установка „Ямаха”.
Множество записей виолончельных — инструмент
хозяина дома. Не обошлось без наших;
но ни Жаклин дю Пре, ни Наталии Гутман,
без которых полной картины не складывается.

Или это состав прожитого нашим сердцем?..
Изменение имен в афишах сообщает
о происходящем в жизни этих имен
лучше любого рассказа, пока не написана
новым Штраусом „Жизнь артиста” или нечто
в биографическом, нормально порочном, жанре.

О чем, привереда? птичьего молока?
не довольно ль бассейна, подогреваемого
не довольно ль бассейна наполненного
проточной водой из источника, подогреваемого
солнечной батареей? отсутствия единой
когда можно сигать в чем мать родила
в водичку под взгляды пернатых
длинноносых крошек, волчком замирающих
в воздухе над клумбой настурций? это
и есть колибри. Ты в Калифорнии,
как тебе и хотелось.

Темные окна сходятся под острым углом,
в торец, стекло к стеклу, как узкий нос
корабля; но в отличие от него женский торс
помещен внутри — не снаружи. На стеклах
зоопарк мотыльковый в постоянном движении,
словно аквариум насекомых. Нет набоковского
сачка, ни гетр на его загорелых икрах
бывшего футболиста, чтобы спросить
названья. И вообще никого.

Покой, словно младенческого бытия.
Угомонилась перебудораженная возня
гнезда осинового в сердце, разбередить
какое-то ничего не стоит. Откуда-то
прибывая, умиротворенье нисходит
и овладевает небогатым нашим внутренним миром,
как будто проснувшись ночью в детстве,
понимаешь: можно спать дальше, далеко до утра,
и вставание в темноте в детский сад
угрожает не скоро. То есть вроде бы ни отчего
вязкая горечь, как ил, опустилась,
нащупав какое-то дно. Стараешься
жить осторожно, не замутняя того,
что стало прозрачным.

В этой части дома не завели часов;
просыпаешься перед рассветом, живешь

по солнцу и потому вспоминаешь, что до того момента, когда понимать научилась циферблат и стрелки, сосчитавшие сразу же каждый миг, еще не прожитый даже, что время было тогда другое, как будто стояло рядом, но от тебя отдельно, когда ты вошел в него, как в русло, и тебя понесло. Тогда-то и стало заметно биение сердца в собственном теле, чего от себя не ожидала.

Поздний вечер. Раннее время ночи. Формы при этом свете приобретают загадочное значение, даже вполне простодушный сухой букетик, собранный по приезде вдоль обочины тропки у подножья холма. Предметы. Вещи. Овальная, размером с яйцо, вроде гальки, полировка яшмы кофейного цвета с рябыми крапинками в разводах. Вот вам и завтрак метафорически-сытный.

Стопка бумаги для машинки; на ней найденное вчера на ступеньке синее перышко Финиста. Никелированный бок стакана для карандашей. Точилка. Очки от солнца. Круглый хрустальный пресс для бумаги. Именная японская расписная чашка хозяина кабинета с недопитым остывшим чаем. Яблочные дольки. Маска из нефрита. Нож для разрезания писем с кожаной ручкой. Литовский текст "Ode miestui". Его подстрочник и черновик перевода, который застопорился и не идет.

Конверт. В нем письмо от друга-поэта из Нью-Йорка, с которым за честь считаю и прочие сильные чувства — с описанием жары и советом улучшить мой английский для писания неких гипотетических заказных статей, с интонацией — ее нельзя повторить — какой-то особенной ласки — любви, которая посторонним не выдается, и со стихотворением под названием, если уж переводить по-русски, „В поселке гуляя под снегопадом“. Кажется, что послано из отечественного какого-то Переделкино,

и вообще непонятно, кто сейчас где,
к тому же в рифму. Критик напишет статью
(надеюсь, посмертно, ибо боюсь, несмешная
будет) на очевидно хлебную тему:
мы и педы.

Деревянные стены дома поскрипывают,
высыхая который год; в разрезе секвой
рисунок узбекского халата. Кот и кошка:
серый в полоску Зигфрид и черно-белая с рыжиной
желтоглазая неженка Лулу; имена
отправляют к пристрастиям оперным их
и моего патрона. Зигфрид, шуриша листвою,
с охоты направляется ночевать домой;
Лулу с барочной грацией маленького зверька
разлеглась в ожиданьи у плошки. Надо
пойти и дать им корма.

Совсем темно, но еще – сегодняшний день стоит
у плеча, не став воспоминаньем, не перетекая
в завтра. Когда был такой же вечер
в последний раз? лет в шестнадцать? на даче?
тоже в июле? Зрелое лето. Душистость травы,
успевшей выгореть. Желтые знаки в листве,
как ранняя седина. На подъеме дороги пасутся
лошади в голубых пополах, как заплатки с неба.
На нем самом располагается то, к чему
невозможно привыкнуть: созвездий балетные
арабески, луны золотая застежка на шлейфе
бездомности вечной, что под занавес
всех сопровождает.

Так и пришли к началу, к „покинь надежду
всяк сюда входящий”. Ее насовсем покинув,
то есть честно, мужество обретаешь
вынести то отчаянье, что, возможно, является
самым ценным для самопознания состоянием,
войдя в которое, если разгадаешь его причину,
то и узнаешь, кто ты. Что еще нам дано
разведывать в этой бездне, кроме самих себя?
на что бы там ни были эти „мы” способны.
Иначе и самое обыкновенное неизвестно:
ни как горе горевать, ни как радости радоваться,
ни с кем ты – пара.

Тут мой милый (якобы тот, не этот,
мы – богема, нам все можно, тем более

подростковые отношения сорокалетних)
позвонил еще раз — а что сказал —
не все же листу бумаги — для себя сохраню.

1988

На смерть Г. Ш-ва

Мы знали — умирает; он и умер.
Кремирован. Ни той чтоб не достаться
земле, ни этой — всем в которой места
хватает, ибо принимает, кто пожелает, каждого
иль за кого заплачено. Возобладало то,
откуда мы, язычники, и происходим:
из практики обряда сожжения родимых мертвецов;
нам свойственно сознание родовое,
до эллинов еще, до иудеев
и до предвзятости к различиям возможным
между на той же грядке выросшим рядом.
Конечно, примитивное сознание
не дальше клеточного уровня заводит,
рожденное (не будем обольщаться!) не выбора
отсутствием, но тем — единственно предложенным
и всех нас разделившим на: мы — они.
Природные условия тех мест, откуда наг пришел,
но не вернулся, заставили на все смотреть поверх
чертежной перспективы черно-белой
гравюр планирования городского,
поверх пространства водного, границы
которого канатоходцу возможно и под силу одолеть,
но не иначе как в обе стороны всем телом ошибаясь.
Теперь как будто связь восстановилась:
он тенью был от тех теней великих,
тех жизней, нам казалось, непрожитых,
породы той — исчезнувшего вида —
той жилой изведенной драгоценной
последствий века адского, который
не скажет, как: ни жить, ни умереть.

Что замираешь, мысль, пощады просишь?
кладбищенской канючишь попрошайкой,
не хочешь мочь — во взятом направленьи?
что тычешься в слова, не видя места
между рядами тесно вставших строчек,
куда б забиться... угол поукромней...

никто чтоб не слышал... трястись и выть...
Что тоже есть, из временных хотя и живых над мертвыми, но все же преимуществ. Такая форма льготного тарифа.
Что уклониться норовишь, мысль? проехаться за счет чужой, избегнуть назвать причину... ханжись, ханжись... пускай другие, кому это сподручней, ближе к телу... на мельницу минздрава лей эту воду, утирай платочком: Ату его, ату, сам виноват почивший сей: был педом. Педрилой. Гомосеком. — „Тем самым, вы понимаете”, — на языке приличных господ и семьянинов. Был какашкой. Прокаженным. Самой мразью для многих. Не преодолел чего-то там в себе или, по мнению других, преодолел и даже очень резво то, что преодолевать не следует. Архетипичен был, а значит, тем, кем быть немногим удастся. — „Как все о н и, вы знаете”. — Не знаю. И что, по-вашему, присуще им такое, что не присуще нам? сплошные сходства. Изящество зверька испорченного. Зеленоглазая врунишки чертовня в зрачках сияла, как отражение, стоявшее в пруду Элизима — в том, куда не раз заглядывал, когда он был там прохожим, сей питерский тонкач и говорун. Вне академии ученый умник, чья, крупною не став, величина в сравнении с друзьями мелковата. Но, как случается, они его любили, как сорок тысяч циников великих любить не могут или как уличных юнцов шпана, которой выпало прожить (да, Рихард Штраус!) жизнь артиста. Выскальзывающ из всех он был — посредством голоса — уловок; суховатость округлости баритональной не воспроизводима больше. Ухом помню, что многое в диапазон звучания его вмещалось, словно в полет прыжка, прослеженного сим балетоманом, длиною во всю сцену. Из-за сцены. За сценой. Он изысканно готовил блюда простые вроде пельменей. Переводил с неведомых нам с вами и мертвых языков, но не доделал

к тем переводам комментариев. Он был знаток деталей отдельных биографий, с которыми подчас был фамильярен; спасибо, что не стал мемуаристом, избавив от привязанных к ним милых излюбленных похабнейших сюжетов. Словом, тем он был, кем мы мечтали б с вами, только, ну как это, „без этого”. Однако без этого на свете не бывало.

Сей непреложный факт, обыденный, как жизнь (к чьей нежной сути никак не удастся притерпеться), потребовал не то что объяснений, но словно стало исходных данных ему не доставать, и что-то приходится в условие добавить. Необходимость действия приводит к единственному: вся индифферентность на том кончается; момент размежеванья; все жесты — нападения иль защиты. Итак, вступление к: сыграть жмура — очнулось запоздало в третьей части. Я помню, как с одной прилипчивой особой, сокурсницей, воспитанницей красной профессуры (лет двадцати мы были, впрочем, она меня помладше), мы шли по Невскому, и где-то поблизости от Рубинштейна мне показалось, что она как будто бы совсем не понимает, о чем так разглагольствует умильно и, упиваясь термином „любовь”, но в словосочетаньи с „однополый”. В те времена она сближалась с кафедрой античности, воспитанники коей натурально „вошли в эпоху” изучения, заимствуя что можно из нее; а также тех или иных явлений отличия от наших институтов осваивая опытным путем; включая способы паразитизма. (За исключением друга моего, не бывшего в ту давнишнюю пору еще любимым другом; и хотя герои наши связаны событием весьма определяющим, сюжету их пока что время не настало.) Итак, она, грассируя грудною, воркующею в недрах модуляции или простуженною просто носоглоткой, невнятно гулила что-то о Чайковском,

о Кузмине и прочих — все известное народу — о сем избранничестве явном, представленное ею как личное открытие взახлеб. Такой энтузиазм взывал к отмщению за эти имена, а в свете мягких мер хотя б к ушату воды холодной, каковой был вылит в порядке информации и в виде доходчивом, но явно резковатом, по той, как говорят, „простой причине”, что девица была не лишена невинности, с потерей коей были у нее свои проблемы. Итак, я ей сказала, как это у них — довольно прямо — происходит. Ее качнуло и снесло к стене, как листик, что при ветре забивает в угол (однако на стенах города того задерживаться нам во избежанье лирического слишком отступленья опасно). Я шла, не замедляясь; догнав, она являла эмоций бурных зажигательный румянец и бледность демоническую — их одновременность всегда меня пугает на лице. Мы продолжали путь. Ничто тогда почти не изменилось ни в — к ним — ее, ни в наших отношеньях; все продолжалось, как и самый Невский, обычным образом, но трещина легла.

С тех пор уже две минуло декады; а с ними отодвинулось столь много всего, что смотришь, обернувшись, как бы в бинокль рассматривая или на что-то неразборчивое, зреньем неразличимое, или как сквозь лупу. Пространство, прошедшим временем наполняясь до краев, готово выплеснуть остаток прежних смыслов, самой Истории историй содержание, отмежеваться от ставшего как будто очевидным. Конец эпохи страшен, господя, лавиной чум победных в самых их разнообразных формах: скоротечною бубонной, коричневой и медленно сводящей по кругу в мир иной, как лошака слепого, или с ума. Ни с кем живым не в силах подружиться, я тоже тенью или караулом стою невидимым с повязкой на руке, такая же, как он... он был одним из тех... ”из наших” хочу сказать, когда б существовали таковые.

Сей мир кончает полный оборот,
в его цивилизации грядущей без нас-то
непосредственно — о, да! без них, однако,
нет, не обойдется, коль сапиенсам
выжить суждено, и ни без множества
различных, всех и всяких.

Прости, что на твоих взялась костях
порассуждать о щекотливой теме.
Как будто повод санкционирован был сверху,
и ясно дано было понять, что, мол,
об этом нынче можно. Прости,
я только жалкий подражатель
тем голосом замолкшим, отголоскам
оставшегося безответным эха,
что так легко приводит к обожанью
фонетики, когда воспроизводишь.
Я знаю, что над прошлым плакать грех;
над настоящим, как в нем разберешься,
уж прошлым станет; над будущим?
оно пока не — мы, и неизвестно, станем ли.
Пора, пора давно остановиться,
перевести тебя в воспоминанье,
воспоминание само остановив
и перестав тревожить дух и тюрю,
накрошенную Временем, что с нами
справляется без видимых усилий,
тихонько себе тикая...

Нью-Йорк, 1988

Надписи под калифорнийскими фотографиями

- 1 — долгий путь нежности,
Великий Шелковый Путь;
пока восхождение не кончится,
не торопи события и не пытайся
начинать извлекать выгоду по дороге;
- 2 — что знаю я о любви и что
обо мне любовь, чтобы
на это ответить, к тебе отсылаю
остаток рифм и не знаю, с чем остаюсь сама;
- 3 — на идущего рядом
снизу взглянув и промахнувшись глазом,
обнаруживаю над его головой месторождение звезд;
если б такое, думаю, с ним приключилось,
он бы в траве оказался;
- 4 — Время отодвинулось в сторону,
краешек скамейки уступив; каемка
циферблата, разъехавшись, соединяется с горизонтом;
мы, как проводники бесконечного бытия,
в антропоморфной оболочке природы;
- 5 — какой-то внутренний во мне распорядитель
подтверждает: да-да-да-да-любви,
раз получается, плыви в золотистой водичке,
как при подводной съемке;
дальнейшее не может быть известно,
но неизбежна встреча с ним;
- 6 — вечное ценит то, что бренно; и наоборот;
вот почему слиянья душ не бывает;
душа любит другое тело, тянет

в него поводок, а другого тела душа
рвется в тело это; что-то четырехмерное,
крест-накрест, словно сообщаемое издалека;

- 7 — это каких-то смыслов аукнулось
где-то в галактике от столкновения двух комет;
солнечные опилки стекают в сердце;
не просила любви, но она просыпается снова;
- 8 — как восхождение на гору, когда невозможно
предсказать, что там тебе откроется,
так и путь двух людей друг к другу
и в другие формы собственного сознания;
- 9 — „сперва, вы знаете ли, так себе холмы...“
пейзаж невзрачен, почва камениста,
невыразителен кустарник и непредсказуемы
вершины, приближаясь к которым, замечаешь:
все позолочено выпавшим тальком;
- 10 — мы поднимаемся, а встречное движение
с горы спускается; краснофигурная керамика
потрескавшихся неодинаково, как после
неудавшегося обжига, трех деревьев;
— “Конечно, ~~и~~ отвечает, — три разных дерева:
сосна, сосна, сосна”...
- 11 — кустик спит как убитый;
дождевые черви хоронят камни;
луч поглощается землей, как хлебом нож;
- 12 — пока из вида не исчезнут два облака
в расколоте ущелье, смотрим;
ты говоришь, что „кто-то, на холод вышедший,
их надышал”;
- 13 — пухлый, как тело младенца, воздух;
геральдика листьев, игольчатых лап, орехов:
солнце лежит на озере, как масло;

- 14 – стремление гор дорости до неба и свое – до взрослого состояния; и еще желание: в глаза, где, как на вершине, светят льды голубые, посмотреть перед смертью;
- 15 – ньютоновская механика вселенной, внутри которой мы – плашмя, и притяженье; стягивающие край одеяла сны, расплывчатые, как границы отчества, где наши дома так и стоят поблизости друг от друга;
- 16 – состояние разреженности горного воздуха, рассредоточенности вершин в пространстве, размагничности метафизики речи, ко мне обращенной: „Так смотрит ленинградская весна”;
- 17 – ветки пишут и пишут кудряво расходящиеся строчки бесконечного текста; облако, как с доски, стирает их попытки высказаться членораздельно;
- 18 – муж говорил: „Когда ты окунаешь кисточку в тушь и задумываешься, лицо твое ужасно”; и возлюбленный мой туда же: „Приезжай, – говорит, – веселой”, – печальную, видно, меня никто и любить не станет;
- 19 – чтобы любить, человеку необходимо особое оснащение души, этому не научишь; вообще же эта работа не труднее всякой другой, хотя и, возможно, не легче, например, нахождения словосочетаний;
- 20 – все на тебя похоже: вольный жест ветки; ворох часовых пружин на ясеновой макушке; то юношеский, то стариковский северный скрип и войлок, смягчающий после согласной лишний в окончании слова мягкий знак;

- 21 – так океан перетекает в океан,
не уследишь, какого где начало,
где их смешались воды или где
двоим отпущенное время оканчивается...
- 22 – все имеет свойство одно: кончатся;
ничего не повторяется: ни миг, ни встреча;
свои дни научусь занимать то так, то эдак,
простые действия в задуманном порядке повторяя;
- 23 – расставшись с человеком – к словарю
бросаешься за помощью: проверить,
что может это значить расставанье,
и много-много лучше понимаешь потерпевших
прежде тебя собратьев по перу,
что сходные события описали;
- 24 – мы-то в живых остаемся; остались, остались;
это Любовь покидает остывшее место,
про себя запомнившееся повторяя: „Ты все мое”.
– „Все, даже с половиной”, – как все
непрочно, что нами любимо...
- 25 – так начинают мёркнуть клетки того свеченья,
что сообщала радость жилкам под кожей,
словно натертой крепко древним снадобьем,
звонкоголосые пузырьки сворачиваются в крови,
как в шампанском, когда оно выдыхается, умолкая;
- 26 – светлокудрый веселый и яркоглазый
костенеет в ступоре истуканом;
вот что, видно, в мраморе вожденном
остается от грека, с которым больше
глазами не встретишься;
- 27 – единственное, с чем не могла согласиться:
что с целью праведной нас наказывают,
убеждая к тому же, что это
делается для нашей пользы;

- 28 – разговор не идет
ни внутри, ни снаружи,
ползет на подножном корме; все слова
как будто в помешанном словоупотреблении,
означают другое, толкуют превратно;
ничего обо мне ему больше не интересно;
пойте теперь песни;
- 29 – стоишь на пустом берегу, взывая:
„Море, – просишь, – соедини нас, море”, –
ветер гонит песок серпантинном по пляжу,
то ли сам он взлетает сухой стружкой;
- 30 – как-то зябко на целом свете, и город
в сумерках условен: бумажно-плоский;
и пока не нахлынет последней волною ночь,
просишь, чтобы собственная хотя бы твоя
любовь продолжалась;
- 31 – все усложняется тем, что ты женщина,
вот именно, дедушка Фрейд; то ли
облегчается этим дело: тоже все-таки
избранничество своего рода: кому рожать;
неполадки состоят в том, что умеешь делать,
чтобы с тобой было хорошо, а не чтобы:
хорошо в то же время было тебе;
- 32 – так небо упорно глядит, тяжелый
снег посылая; так запряженная в сани лайка
взглядом со всем, что в нем осталось
дикого, волчьего, провожает;
- 33 – слабость сумерек, покорность темноте;
разнобой квасцов небесных; успеваешь
сказать: „Туча рваная, но живая”, зеленоватый
рисунок волокон дерева на подаренном тобою
блокноте, подошедшем к концу;
- 34 – во сне, просыпаясь рядом с тобой, боялась
посмотреть в глаза и опять не увидеть любви;

отгоняла гремевшую коваными сапогами,
ходившую по мне всю ночь строчку стихотворенья:

35 — под сухую овсянку снегопада, под
золотыми фундами осеннего банкмета;
под голубым форзацем полуденного шелка;
под шелест ассигнований канцелярских товаров;
хорошо умирать от избытка любви ко всему живому;

36 — год прожила, наблюдая с балкона шестнадцатого этажа
жизнь садиков на крышах, жизнь часов,
оправленных в эклектику фасадов,
безработных дымоходов, качанье сквера —
почти морской пейзаж; и как две белки в нем
и тут же рядом две крысы мирно сосуществовали;
и как по вечерам укладывался город на ночь
в коробки электрические вафель.

Нью-Йорк, 1989

Постскрипtum к дневниковым записям

- Вся жизнь я как будто думаю об одном и том же, подыскиваю варианты сравнений, и еще есть люди и стихотворения, с которыми хочется разговаривать на их родном языке.
- Как только уезжаешь из Нью-Йорка, встречаешь самых, видно, настоящих, как в анекдотах об американцах, американцев.
- Все выходит само собой. Само собой ничего не выходит: требуются усилия. Между этими двумя — широкое поле для размышления на любую тему.
- Жизнь деревьев: завидное чувство собственного достоинства. Стоят толпой, и каждое обладает отчетливо гибким представлением о самом себе, на границе возможного и невозможного параметры собственной индивидуальности утверждая.
- Мы, конечно, не столь искренни, как наивные люди, мы куда более: как искушенные, поэтому переносить нас трудно, но нестерпимое для одного жаждуемо другим.
- Не столь уж легко впадаю в тоску-печаль, но довольно легко все еще меня рассмешить. Побывать и умным и глупым — это очень приятно, разнообразя формы существования самого себя.

- Внутри тебя какой-то Шуман расшумелся, разыгрывает, развивает тему; нашел большую струнку и знай старается по ней смычком, густым, виолончельным. А тот, кто рядом находится, об этом и не подозревает. (Это часто.)

- Не знаю, кто я: ни кто есть, ни кем был, ни кем буду. Домоводство. Рецепт: стихотвареники с вишней.

- Кожа, в которую обернуто мое тело, шероховата, как эта бумага, на которой записываю и которая превращается на глазах в тиснение на коже какого-то животного из отдела антропологии, но вовсе не содранную живьем.

- Каждый дурак и каждый умник знает: жизнь поэта трагична, с чем его словно хочет сердечно поздравить. Таковым сочувствующим комплимент возвращая, смею заметить: обратите внимание, ваша — тоже.

- Представители несвободных профессий эти профессии выбирали, чтобы якобы быть свободными от неких серых волков. Представители профессий свободных этих серых волков, видимо, ни во что не ставили; в результате, им посвободней как-то живется.

- Иллюстрация коллегиальности. Забег, стометровка, мелькают пятки, мускулатура бедер молодых жеребцов. Один далеко оторвался — это бежит чемпион. „Мы” в сторонке бежит небыстро по боковой дорожке обыкновеннейший марафон длиной в даты жизни.

- Я позабыла о том, что есть такое, о чем говорить можно и о чем говорить нельзя, — верный показатель того, что, значит, действительно живу в другом месте, обживаю пространство.

- Про меня интересно узнать только моим друзьям, но они таковы, что о них интересно — всем.
- Не путать: это публикуют для всех: пишут же не для кого-то и не для себя, а потому что пишется.

(дополнение в дороге)

- Демографический кризис становится очевидным на пляже; даже в самом необитаемом месте, на побережье, в рыбацкой деревне; все сплошь покрыто телами, причем, они топлес — тут уж, действительно, равенство неравных возможностей устроенных единообразно с некоторым разнообразием женского вида особей.
- Жизнь это отрезок времени, внутри состоящий из разной длины эпизодов, то последовательно, то параллельно смонтированных, а то наложенных многослойно или коллажем.
- Демократия — это такие условия, где невозможно представить картинку: вождь — и народ, пророк — и толпа, поэт — и чернь; причем, понятно, кто из этих двух неустойчивых видов вымирает первым; в этих условиях — имею в виду многолюдный пляж — видимо, гению появиться труднее, чем в прежние времена; во всяком случае, после 60-х что-то не кажется, чтобы их появлялось.
- Мир как-то перебогачается без них, например, Восток; и вообще, эта древняя проверенная модель: ученик — учитель как-то по-человечески поприятней и оставляет место для роста над самим собой.
- Жалко, конечно, гения; жалко этой руины имперского сознания, идеи нерушимости неразрушаемого целостного монолита (в том числе, идеи любви); кто из этих зубров в живых остался, пускай поживут подольше; например, Беккет, переживший эпоху ожидания Годо.

- Как мы ни далеки от трубадуров, но кажется, еще дальше от сентиментализма, ибо бесчувственней; от символистов, от их высокопарного китча; хорошо бы удержаться от канонизации поэтов: как-то неловко — все же были грешные люди.

- Приходишь к мысли, что вообще-то стишок зарождается в движении; на пароходе из Панамы к Флориде, проплывая мимо далеких очертаний островов, едва выступающих над уровнем океана, говоришь подруге: такой и должна быть строчка: неровной.

- Как и каждое поколение, мы и есть переходные экземпляры человечества; транзитные состояния не имеют формы, ибо они не статичны; задействованы, как подопытные зверюшки — и ничего, пока выдерживаем.

1989

Набор слов

”потому что куча бумаг пропала”
замусолено, завозюкано, намазюкано
явочным порядком
напортачили, нагородили непролазного
послевоенный мир ноющей раны
отрядили с сопроводилровкой
с хренком

”отсутствие зла не есть присутствие добра”
в обстановке семейного уюта
хлорная известь,

пух и перо, перо и пух
”это все у него наносное”

аэропорт – греческий театр новых трагедий,
античность зрелищ террористических актов по ТВ
страшно вырастает разлука, заслоня горизонт
ничегошеньки больше не просишь

устройство его отдельной части вообще: ухо
соната для мужского и женского голоса
единица: поэточеловек, человекопозт (поэтому)

гангрена
на молекулярном уровне
что означает лядащая?

была б я уличной воровкой // иль проституткою с угла
уж больно распростецкий, как сексот
сопряжено с потерей голоса
дитенька моя
мартынушка

невозмутимая детская сосредоточенная недоверчивость

закат как червивое яблочко
турбаза, наваждение
говорящий ясно
оловянного жуткого цвета
вживание биомеханических качеств
прополка, проработка, разнос
шавелевая кисленькая влажность

ибо пишет не для тех юнцов, которыми были, но для
тех взрослых, которыми стали
небесная механика Ньютона тянет ляжку
зубчатая передача придумана Леонардо в Амбуазе
щепетильность, взыскательность, вежкость

”своевольница какая”

”Будешь кусать себе локти”

с хохотком несчастья обрывок речи
грассирует, как будто это кратчайший путь в Париж
членовредительство, уживающееся с чистоплюйством

мотовка: не поладили

последыш

плацкарта дальнего следования

бытует такое выражение

читается туго: словесная ткань непроходима

происходящий слог

поломка

выходные данные, библиография, сноски,

переходящее в прозу

приставная лестница

по буквам

узлы словосочетаний

искрометный, конфузливый, неказистый

в слюдяном вологодском резном окошке

смерть стыднее греха: открывая глаза видишь

себя с кем-то

порядком струхнул из-за недоукомплектованности

на попечение

фефела, фифа, флакон ”Красная Москва”

мемуарный характер зазубрин

доводка

излучина речи: теплокровное, меховое

отшелушивать, раскурочивать, отрубаться

вхолостую

потерявшего шарм ловеласа

раскрашенный анилином

спровадил, сварганил, урезонил, стушевался

двусложных и трехсложных внушений

предписание: все вытравлять за появлением

то ли выдача армии пленных в маскхалатах

гуси-лебеди, утки-аисты

как облупленных

все — неправильно!

заручились поддержкой залучить в гости

подмывает округлить и оторваться

умерла от избытка любви
самоутверждаться за чужой счет
ревнитель, радетель, каратель, взыскатель
погустительствуют
касатик тянь-шаньский — луговой цветок
разбойник с большой дороги
в перечне, в реестре, в дубликате
ей было неприятно слушать и вообще присутствовать
ветер вдумчиво дует с запада
смятение, стеснение
не гнушался никакой работы и вышел в люди
сошлись в условиях
гудок

лакейски, подобострастно,
слаженно, энергично
на пергаменте полуустановом
пасечник, москательщик, утильщик
”скобяные товары в низочке”

всеядность
от нашего постоянного корреспондента
мухи, дневные и ночные мотыльки, оводы,
осы, шершни, рыжие муравьи и черные, гусеницы,
кузнечики, стрекозы, бабочки, светлячки, комары
словно экспонаты кататонии
все на потом разговор оставляла

создавать из нас себе сторонников
вялость, рыхлость, провинциальность, тягомотина
”из земли не растет”

тайновидение, тайнослышание
серьезный предварительный страх
также как не знать правила орфографии
пыжится, вон из себя лезет
заскорузлость, постное, захолустное

паутина условностей
венчик, метелка камыша, щипковые инструменты
с двумя горбами Пульчинелла, офеня, скоморохи,
балаган, клоунша, шутиха, буффонша, Полишинель,
Петрушка, бродяжка
древко, фестоны, венчик, набалдашник
оглобля, шпингалеты, щетина, щеточка
губчатые берега, соляные копи, каменоломня
сетчатость, звездчатость, чешуйчатость, трубчатость
машина восприятия

”картина отечественной литературы существенно
изменилась коренным образом за последнюю четверть
века”

это все не должно быть такое
мельница осуществляет полнолуние
стихи плохие и получше
справедливости ради
наутро, действительно, все другое
не представляемому более ни укладу и быту, ни
обиходу человеческих отношений
пасует перед другим
отзвуки канонады докатились до канцелярии
пушкинская гадливость по поводу "нравственной
декламации"

экспрессионизм: толпа деревьев, заламывая руки,
поведением которых недоволен ветер,
деревянные глухонемые жесты роши
стиранные стишонки
иное в языковом воплощении
золотистая пенка кипения голубого
охранительные клапаны
не возбраняется
телам деревьев не тесно
спелись, допекло, закаялся
несозвучно
на высоте положения
нежданно-негаданно
вполуха
чтоб эту ласку разрешили

неразговорчивое поколение
вышла высочайшая воля об отпуске
бесчинствуют
так и подмывает
любовь как фотопроявитель
спровадили
сдавая их, гремит ключами: дело его жизни идет прахом

шугануть
картография, планиметрия, межа,
форзацы голубого шелка, шмуцтитуды, фолианты,
акварели Ухтомского, Садовникова,
Музеум Книги и Письма
занимательной повести: заковыристого, с кренделями
до белого каления
музыкальный сварливый автограф оставил ветер
литейка, кувалда. пресс. маховик
кино: по Нью-Йорку идет в узбекском халате
в еврейскую контору для русских иммигрантов
среди китайцев

другое кино: 200 лет Бастилии, Париж танцует
Дунайские волны, о голубка моя,
ой-ой-ей-ей, что за девчонка

рисовка
окаянство, мостки, веретено,
жизнь, накопленная годами
морозоустойчивость
беспорядочными движениями снимает облачные сливки
с верхушек
сладенькие прогулочки
вязкий состав синего наполнителя упоительной
эластичности
Вавилонское письмо
почтовым голубем

Геомнезическая обсерватория Мишеля Жерара*

Все началось с создания весомых
частиц материи тьмы и света,
с едкой печали угля скульптурных эскизов.
Физиология плоти металла хранит
столько нежного несовершенства
от небывшего прикосновения
мякоти мастеровитой ладони,
работающей тыльной части руки того,
кто это придумал.

Мы, как первые люди земли после дня творенья
смотрим на небо, на заходящее солнце;
словно по снежной поверхности океана
северных оконечностей света
его безволосое темя движется рядом
по разостланному туману,
оставившему на твоей голове
свои белые клочья и косоглазость
лучей, желающих охватить оба полюса
и пространство наших разноязычных мыслей.

По небу ползет насекомый самолетик
с уютным по сравнению с ракетой космической
бурчаньем, как паровичок или пароходик
до обеих войн в оканчивающемся столетии.
Кузнечное время серпа и молота миновало,
начавшись когда-то в прекрасном уродстве
Гефеста так же, как наша не то что бездомность --
внеместность, бытующая в координатах:
на земле под небом,
словно из этих двух отставленных друг от друга

* Мишель Жерар — современный французский скульптор. В начале стихотворения упоминаются эскизы к его скульптуре (— М.Т.).

на большом расстоянии источников пославшись,
любовь поместилась в едином сердце.

Мы новый народ среди других народов,
нация скитающихся добровольно по свету
в мире, где кочевничество как цивилизация
кончилось в школьном учебнике той истории,
которой мы не поверили: ты — по-французски,
я — по-русски. Этот народ,
по родине тоски лишенный,
испытывает ностальгию не по месту,
но по тому комфорту личных отношений
со временем, что не дается смертным.

Вспомни то ощущение, когда мы
не умели читать циферблат и стрелки,
а потом научились, и время тогда изменилось,
часы покинув и нас вобрав как объекты
под свою стеклянную крышку
предметом механики крохотных винтиков и шестеренок.
Каждый миг оказался отмеренным
и так до конца, само собою, конечной жизни.
Не потому ли ты хочешь смотреть в лицо
просыпавшимся мимо песочных часов созвездьям,
надеясь, что это хотя бы вечно.

Подчиняясь невидимому движку, меркнет
освещение внутри воздушного шара,
засветив перед нами планетарий вселенной;
что видится ей во сне, того и ждет наяву:
наступленья двадцать первого века, в котором
нам жить не придется долго, но — тому же
камню, руде железной, что в нем залегают
на глубине подземной, откуда из темной шахты
пришел трубочист с фонариком полнолунным,
закрыв заслонку, чтоб выгрести печку,
когда остынет, к утру.

Калифорния, дом Карла Джераси
28 июля 1988

Импровизация на девятнадцатилетие сына

Катыш, мякиш и дутыш, и разного рода ракушник.
Сходство было бы полное с прежним пейзажем, когда б
удареньями южными сбившихся в Питер старушек
и московских сударушек аканьем здесь бы торго
оглашались. Безлюдье, безмолвие и безызвестность
с послушаньем славянским вполетали бы ленту песка
в тростника говорящую арфу из радиопесни,
словно в пятидесятых: метелки и серп в колосках.
Разговорчивый месяц. Живется ему многословно,
всюду лезут названья, и некуда спрятать глаза
от стыда распутившихся завязей, спевшихся, словно
в партитуре хористов, расписанной на голоса.
Если б там мы и жили, то... мысль отгоняешь, о чем бы
рассуждали с утра до утра у гостиных рядов
поголовно-погонно-порожных — не клюквой, моченой
в тусклой краске солдатской, набив, но грамматикой рот.
Как живут? Припёваючи, самой невзрачною травкой,
на которой горелый автограф оставил русист
против шерсти ладонью, доволен, что, вычитав правку,
удалось стусеваться: расстрига, но не атеист.
Поглощен наблюденьем простейшей ботаники крестик,
оживает накопленный годом гербарий сухой,
и разбойничьей дробью механики точной небесной
заговорен от глаза дурного живущий любой.
Вот когда у юнцов губошлепых мастей разношерстных
голоса прорезались бы, как у пернатых — лафа!
фирлюли выдавая, насытиться произношеньем,
проверяя гортанью: такие ли это слова.
Не спеша и не медля, но собственным двигаясь ходом,
как из окон вагона: осина, орешник, ольха —
Время только и знает, что трудится над переводом
всех и вся на родных, одинаково слышных ему языках.
Что любимо, любить. В свете происходящих событий
обнимая расплывчатость, спит золотая пыльца;
вечер тянет резину, медовый ее наполнитель
затемнением мирным нахмуренность сгладит с лица.

Поживем и увидим, кто прав и в чем всяк виноватый,
кто кормился в ученьях на местности прежних кровей,
кто в день Будды, в созвездии Овна рожден, в год Собаки,
в мирозданье проросший, из клетки принявшийся сей.
И пока настоится под синей прозрачною крышкой
жизни порция взрослая, там уж добавку пекут
из запасов домашних, обрадовать чтобы мальчишку,
поджидавшего мать. И на мне замыкается круг.

Вирджиния Бич
8 апреля 1988



Содержание

I	
Наблюдение за полетом птиц	7
Из песен Сапфо	9
Позднелатинское послание	13
Семь подстрочников сонетов из рыцарских времен	16
На ферме	19
II	
Немецкая тема: к Элизе	31
На тему „Воронежских тетрадей“	
1. „Мы те последние, кто видел стариков...“	34
2. „Книги пахнут крысами и складом...“	34
3. „Я еще ненаписанное говорю наизусть...“	35
4. „Стихотворенье, город-государство...“	35
После 1984-го	37
Тексты к шести мещанским песням	
1. Романс перед отлетом	44
2. Семейное танго	44
3. Прощальный вальс	45
5. О числовых выражениях	46
6. С метампсихозом	47
Дорога на Страсбург	48
„Я хочу умереть под дождь...“	49
Причитание	50
Песенки Офелии	
1. „Что, милый, выходя во двор...“	51
2. „Меж нами полсвета сейчас...“	51
Сонет: в обратном направлении	52
Сонет: на мотив английских метафизиков	53
Четыре связанных между собой стихотворения	
1. „Растерявшихся связок молчанье, то ли шелк теноровый...“	54
2. На летном поле	54
3. „Звук, словно пытается скрыть от себя самого...“	55
4. „Любовь сочиняет язык, обороты речи...“	55
III	
Перерыв	59
В самолете	61
В доме Карла Джерасси	67
На смерть Г. Ш-ва	72
Надписи под калифорнийскими фотографиями	77
Постскриптум к дневниковым записям	83
Набор слов	87
Геомнезическая обсерватория Мишеля Жерара	92
Импровизация на девятнадцатилетие сына	94

Всем, кто оказывал мне поддержку в ходе
работы над текстами, в оформлении и публикации
этой книги, и особенно:

Иосифу Бродскому,
Ирине Вечняк,
Карлу Джерасси -- Carl Djerassi
Елене и Сергею Довлатовым,
Мишелю Жерару -- Michel Gerard
Альфреду Корну -- Alfred Corn
Елизавете Леонской,
Михаилу Одноралову,
Марии Розановой,
Андрею Синявскому,
Александрю Сумеркину

моя самая сердечная благодарность.

Автор

Handwritten scribbles at the top of the page, possibly representing the word "no" or "no" written twice.

Handwritten scribbles in the middle of the page, possibly representing the word "no" written multiple times.

Handwritten scribbles at the bottom of the page, possibly representing the word "no" written multiple times.